С. В. Томских

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Челябинск
Цицеро
2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Т56

Томских, С. В.
Т56 Новогодняя ночь. Проза [Текст] / С. В. Томских. — Челябинск : Цицеро, 2013. — 184 с. + **CD.**
В книгу челябинского поэта и переводчика Светланы Томских (1961—1995) вошли рассказы, опубликованные в разные годы, а также публикации о ее творчестве. Издание содержит большое количество фотографий из семейного архива.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-91283-316-8

© Томских С. В., 2013
© Томских И. Н. , составление, 2013

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Телохранитель

Рассказ

«Какие люди, и без охраны», — люди радушно раскидывали объятья навстречу Рыбакову.

И ошибались. Охрана была. Охрана стояла, как ей и положено, немного позади, но достаточно близко, чтобы в случае чего… Охрана была в лице Васьки.

Васька щурился, поводил плечами в своей просторной джинсухе, словно она ему жала. Привыкал к своей второстепенной, на первый взгляд, роли. На второстепенный взгляд, роль была первой.

Рыбак на него почти не обращал внимания. «Рыбак», — так Васька окрестил своего шефа. Фантазии тут не понадобилось. Отсеченная фамилия составляла простое прозвище. С таким прозвищем Петр Семенович почти родился, он был на него обречен. И по мере того, как из славного сопливого мальчугана он превращался в менее славного, но зато менее сопливого парнишку, имя «Петенька» слетало с него, как шелуха от семечек. «Рыбак, рыба», — так в зависимости от ситуации называли его во дворе, в школе, затем в институте. И даже женщины, игнорируя всевозможных «кисок и птичек», называли его только рыбкой.

Лишь почтенный возраст вернул Рыбакову его истинное имя, да еще вкупе с отчеством. Петр Семенович стал обладателем портфеля, шляпы, галстука и прочих приметных и неприметных атрибутов солидности. А затем — и обладателем телохранителя.

Впрочем, период между Петенькой и Петром Семеновичем был совершенно неведом Ваське. Он застал Рыбакова уже председателем кооператива.

На этот кооператив Васька вышел, надо сказать, не через бюро по трудоустройству.

Уволившись с прежнего места службы, три месяца он болтался по улицам, отягченный статусом безработного. С пособием советские власти не торопились. Зато все три месяца его преследовали массивные плакаты, призывно манящие всех пешеходов спотыкающимися друг о друга вялыми строчками. Они сообщали, что там-то и там-то требуются слесаря, токари, каменщики — высокой квалификации. На худой конец — низкой квалификации. Все остальное обозначалось одним словом — чернорабочие.

И Васька, невзирая на столь заманчивые обещания разнообразных администраций, как семейное общежитие, бесплатные обеды, и отпуск на берегу… да нет, не Черного моря, а озера Тургояк, смело миновал эти плакаты. Он совсем было приуныл, поправляя материальное положение тривиальным способом: покупая джинсы в одном месте и перепродавая в другом.

Но тут и отыскался кооператив, официально занимающийся изготовлением бижутерии, а тайно — резво плывущий подпольным течением бизнеса.

Впрочем, Ваське известие о нем попало через десятые руки. Информацией не избаловали. Сказали: «Нужен кооперативу телохранитель. Штука в месяц. Рэкетиры не беспокоят. У них все схвачено, за все заплачено».

Васька, недолго думая, согласился. Так что, можно сказать, наткнулся он на кооператив, как слепой на камень.

Рыбаков тоже вполне вписывался в этот непритязательный образ. Он, похоже, тоже не переусердствовал в своих поисках.

Новый телохранитель был далеко не Шварценеггер, хоть когда-то и преуспевал в кулачных боях. Три года назад он пришел из армии, работал на поприще, никак не связанном с защитой кого-либо.

Среди натренированных мальчиков, явно можно было поискать и получше. Тем не менее, Васька был безоговорочно взят, без всяких там испытательных сроков и проверок на смелость, прочность и вшивость.

Впрочем, так ли был уж нужен Рыбакову охранник? Может, это и стало причиной того, что он не копался в кандидатах? Скорее, ему недоставало мальчика на побегушках.

Хоть Васька и не носил в апартаменты Рыбакова чай с лимоном, зато зонтик за шефом таскать приходилось. Со стороны это выглядело комично. Так над президентом СССР раскрывали зонт ребята с непроницаемыми лицами.

Но все это скорее развлекало Ваську, потому что сидеть без дела он не любил. Ему было указано место — в коридоре, рядом с гардеробщиком. Он мог читать, спать, есть, пить — главное, чтобы всегда находился на месте.

Коридор был узкий, с тусклым пятном лампочки, с обшарпанными стенами, на которых клочьями висела влажная штукатурка.

Гардеробщик Степаныч да Васька были бессменными обитателями этого производственного помещения.

Степаныча кровь не грела, и та груда одежек без застежек (старые майки, свитера), которая округляла его хилое тело, согласно пословице, превращала гардеробщика в капусту.

Работы у Степаныча было немного. Посетители в кооператив не ломились, но если уж в коридорчике появлялись незнакомые люди, он коршуном бросался к ним и помогал снять пальто. Что ни говори — сервис. Видимо, такой энтузиазм входил в служебные обязанности Степаныча. В остальное время он дремал на стульчике, оставив Ваську наедине со своими мыслями.

Васька тупо смотрел на кабинеты. Их было три. В одном из них восседал Рыбаков. Двери его комнаты были большие, с лепкой, с резными ручками, покрашенные удивительно блестящей краской. Казалось, их взяли напрокат в это унылое помещение. И когда они распахивались, золотистым светом

заливало коридор. Шеф выходил оттуда барином (только что без венчика вокруг головы).

Ваську словно взрывная волна сбрасывала со стула. Он вскакивал со своего места, как собака, ожидающая хозяина, и шел за Рыбаковым следом.

На улице ощущение восторженности терялось, и Васька остро ненавидел шефа, чей лысеющий затылок качался прямо перед ним, а старый, видавший виды «Жигуль», с лысеющей резиной в унисон своему хозяину это ощущение усиливал.

Рыбаков наверняка мог купить новую машину, в этом и сомневаться не приходилось — но, видимо, необходимость пускать пыль в глаза периодически сменялась необходимостью прибедняться.

Васька вечно волок к машине какие-то тяжелые пачки, кульки, свертки, тщательно завернутые. Рыбаков не разрешал помещать их в багажник, а бережно укладывал рядом с собой на сиденье.

И телохранитель чувствовал себя полным идиотом. Они мчались неизвестно куда, неизвестно зачем, неизвестно на чем.

Шеф сам сидел за рулем, и опять перед Васькой маячил его круглый, гладкий затылок, прочно посаженный на шею, распадавшуюся на несколько валиков.

Шеф, пожалуй, больше походил на рыбу, чем на рыбака. Выпяченные толстые губы бантиком. Водянистые круглые глаза навыкате. Узкое лицо. С красноречием тоже было все в порядке. У Васьки сложилось впечатление, что за все время его службы, т. е. за два месяца, Рыбаков сказал ему не больше десяти слов. Впрочем, если уж быть щепетильным и добросовестно сосчитать все слова, включая предлоги и междометия — их было гораздо больше. Но начнись такой подсчет, Васька вовсе не из любви к гиперболам стоял бы на своем: не больше десяти.

Даже одежда Рыбакова: серый костюм с едва заметной серебряной нитью — напоминала чешую.

Каждый раз они неслись на «жигуленке» в новые места. Прямо у дороги уже ждали Рыбакова. Там и раскидывались

руки: «О, какие люди, и без охраны». И только потом замечали высокого парня, который стоял, облокотившись на машину, и смотрел вдаль безразличным взглядом.

Их радость при виде Рыбакова была искренней, не дежурной, и Васька никак не мог понять, каким это образом шеф вызывает бурные симпатии. Он что-то не припоминал, чтобы его встречи, даже с друзьями, начинались с такой прелюдии.

Рыбаков в подобные минуты обретал дар речи, смеялся, что-то чирикал, жестикулировал. Потом поворачивался к Ваське и, щелкнув пальцами и подмигнув ему, говорил: «Давай-давай, родной». Родной просовывал голову в машину, извлекал тяжелые свертки и тащил шефу.

Затем они садились в «жигуленок» и отправлялись обратно. Шеф исчезал за своей великолепной дверью, а телохранитель усаживался на свой стул в коридоре.

У Васьки словно тяжелая портьера опускалась перед глазами, и он начинал задремывать, как семидесятилетний Степаныч. Более того, он стал замечать, что начинает мерзнуть в коридоре, и обоймы одежек гардеробщика, над которыми он поначалу посмеивался, вызывают у него зависть.

Иногда, завидев посетителя, он едва не бросался к нему навстречу, наперегонки со стариком, чтобы помочь снять пальто и может быть даже получить за это гривенник. Затем он познал смысл слова «радикулит», и резкая боль в пояснице уже не удивляла его.

Все эти метаморфозы Ваське, естественно, нравиться не могли. Он с тоской вспоминал, как работал художником в драмтеатре. Его раздражал искусственный мир декораций, но там не было этого тупого ожидания.

В театре он целыми днями ползал по бумаге, по картону, по деревяшкам с ножницами, цветной бумагой, кисточками. И все для того, чтобы на следующий день после спектакля рабочие сцены небрежно швырнули декорации в подсобку, наступив на них, и что-нибудь обязательно порвали, сломали, размазали.

Одному из режиссеров, Кириллу, было глубоко безразлично, что там намалюют художники. Если вместо сосны выхо-

дила пальма — он не выказывал неодобрения. Ребята на спор друг с другом рисовали ему вместо рыси кошку, вместо дома с мезонином беседку, вместо лунной ночи хмурое утро — все проходило на ура. И чем хуже получались декорации, тем, казалось, больше был доволен Кирилл. Он не собирался подавать зрителям театрализованное представление. Он был сторонником своеобразной условности. Актер на голой сцене даже не являлся его идеалом. Идеал Кирилла — актер вкупе с плохими декорациями — если тому удавалось преодолеть раздражение зрителей, отвлечь их внимание от несуразностей на сцене — тогда можно было судить о достоинстве игры, ну и, конечно, о заслугах режиссера.

Второй режиссер, тридцатидвухлетний Майкл, являл собою полную противоположность Кириллу. Он был фанатиком всего, что находилось на сцене. Стул, сдвинутый на несколько сантиметров от указанного им места, вызывал у него бурю негодования. Он мог часами наблюдать над своими художниками, заглядывая им через плечо.

Подобно тому, как прораб кричит строителям: «Вира, майна», Майкл со знанием дела указывал на декорации: «Вот это пятно побольше, сюда плесни зелененького, дерево сделай покороче».

Большим специалистом в изобразительном искусстве он не был, но недостаток знаний и интуиции с лихвой компенсировал апломбом. Из-за этого Ваське и пришлось расстаться с драмтеатром. Ему поручили делать декорации к пьесе «Повелитель мух». И пока он колдовал над кабаньей головой, явился Майкл.

— Натуралистично слишком, — сказал Майкл, садясь напротив, закинув ногу на ногу и раскуривая трубку. — Голова должна быть похожа на Брежнева.

— При чем тут Брежнев? — удивился Васька.

— Это должно быть концептуально. Тебе не понять. Я сказал, все, — и развернулся.

Васька мрачно проследил за концептуалистом и сказал:

— Вообще-то твоя рожа больше похожа на кабанью.

Тот удивленно оглянулся:

— Что-что ты сказал?

У Майкла были длинные руки. Ими лучше бы защищаться. Но защищаться сейчас он был не намерен. Майкл наступал на Ваську, и в глазах его пылал фанатичный огонь ярости. Вслепую он выкинул вперед правую руку. Васька с легкостью ушел в сторону. Затем прижал Майкла к стене и, ухватившись за его горло, ударил несколько раз ему по лицу. Майкл, как спущенный воздушный шарик, опустился на пол.

Через день Васька писал заявление по собственному желанию начальства. А Майкл с разбитой губой и фонарем под глазом мрачно ходил из угла в угол директорского кабинета, и стальной огонь фаната в его глазах был холоден и ярок.

С этого, видимо, и началась карьера Васьки как телохранителя, охранника, бойца. Майкл был далеко не самый сильный противник, но имя Васьки связывали с этой отнюдь не блестящей победой. Поэтому и всплыло оно, когда стали говорить о должности с кулаками.

Впрочем, Ваське было все равно. Уныние новой должности он почувствовал не сразу. Первые дни блаженствовал.

Он сидел, как ковбой, скрестив руки, закинув ноги на стол и надвинув на глаза шляпу (ее роль выполняла кепка «адмирал»). Эта поза» была выбрана им не из-за детского пристрастия к вестернам, а из-за удобства — ковбои знали в нем толк. Степаныч, ободренный этой картинкой и разделявший восторг новичка, довольно хихикал: «Солдат спит, служба идет». Васька в ответ расплывался: так оно и есть. Служба идет, не надо суетиться, искать подходящий колер, пачкать колени, ползая по холсту на четвереньках, вступать в творческие разногласия с концептуалистами, оттирать краску ацетоном чуть ли не с задницы. А надо сидеть и поджидать спокойно рэкетиров, которые, может, никогда не придут. И за это тебе капает прибыль — зарплата побольше, чем в храме искусства. Просто за то, что сидишь или катаешься с шефом на машине.

Показать свою профессиональную подготовку Ваське пришлось только раз, да и то не совсем по прямому назначению.

12

По дороге к очередному клиенту Рыбаков вдруг обнаружил, что бензин на исходе. Выругавшись, он повернул к автозаправке. Как оказалось, шеф был не единственный, кто решил посетить эти святые места — до желанного шланга с бензином их отделяли две добрых сотни метров, заполненные автомобилями.

Рыбаков вышел из машины, громко хлопнув дверцей, обошел ее, словно отыскивал, нет ли где крыльев, чтобы вспорхнуть над очередью.

Крыльев, очевидно, не оказалось, и Рыбаков двинулся пешком к заправке.

Через 20 минут их напоенный «жигуленок» был готов к дальнейшему путешествию. Но машину тормознули два парня, преградив дорогу. Один, постарше, повыше, поглавнее, с плоским угрюмым лицом и длинными красными, словно отмороженными руками, молча смотрел на Рыбакова, как будто хотел его загипнотизировать. Другой, приземистый, юркий, смазливенький и пухленький, как ангелочек, подскочил к окошку и жалостливо затянул:

— Дядя, дяденька, открой. Выходи, дядя.

Рыбаков, словно позабыв, что сзади сидит телохранитель, резко открыл дверцу, которая сильно двинула по ангелочку. Тот схватился за рукав.

К Рыбакову шагнул первый:

— Слушай, дядя, — он мрачно и звонко сплюнул, как будто каждое слово ему давалось с трудом, — ты за социальную справедливость? Так почему свою тарахтелку без очереди заправляешь? Ну-ка, — и он всучил Рыбакову огромную грязную канистру, — поделись.

Васька уже вылез из машины и легонько стукнул Робин Гуда. Тот встрепенулся и двинулся в нападение. Васька перехватил руку парня и ударил его в живот. Робин Гуд согнулся пополам, но времени зря не терял — достал кастет. Снизу он собрался проехаться по челюсти противника — удар по почкам опередил его. На лице мгновенно выступил пот, который через несколько секунд смешался с кровью — Васька расквасил ему нос.

Ангелочек в это время к ним не приближался, только подпрыгивал, как перед боем на ринге. Васька поманил его пальцем. Тот, как будто уже не мог ставить ноги по раздельности, подпрыгнул к нему на полусогнутых. Васька назвал его про себя коротышкой — ангелочек был на голову ниже его. Р-раз — и кроссовка Васьки уже въехала ему в подбородок. Ангелочек оказался с отличной реакцией, несмотря на боль, он перехватил кроссовку и стал тянуть за язычок. Васька резким движением вырвал ногу и еще раз прошелся по челюсти коротышки. Тот, вяло размахивая руками, попытался войти в клинч. Но Васька разошелся.

В голове его звенело, воздух серебрился, как рябь на воде. И ряд машин, рассыпанный разноцветными бусами по мокрому асфальту, сливался в одно целое, радужное.

Ваське все давалось без напряжения. Краем глаза он вовремя замечал, когда поднимется Робин Гуд, чтобы проехаться боковым ударом по его виску. И кулак, точно летящий в помутневший глаз ангелочка, был послушен и гибок. Никогда Васька еще не чувствовал себя таким молодым, сильным и ловким.

Лишь свисток милиционера где-то вдали заставил его отказаться от дальнейшего боя.

Рыбаков, молча наблюдавший за дракой, сел за руль. Васька тоже молчал. Только один раз цокнул, взглянув на свои ноги — старания ангелочка не прошли даром — кроссовки порвались.

Может быть, у Рыбакова были на затылке глаза, может быть, звук сожаления не миновал его уха, может быть, и тут интуиция его не подвела — но через пару дней Ваське в кооперативе вручили новые итальянские кроссовки. Были они меховые, зимние, и хоть на дворе стояла осень, Васька был доволен — холод коридора все дальше проникал в его тело. Лампочка, мраморно мерцавшая на потолке, еще больше усиливала холод, и лучи ее рассеянно расползались по всему помещению, в поисках тепла.

Таким образом, кроссовки отлично заменяли производственную обувь. Но Васька испытывал не благодарность к

Рыбакову, а скорее раздражение. Во-первых, неясно было, откуда шеф узнал его размер — кроссовки подходили идеально, без всяких плюсов и минусов. Во-вторых, в тепле были только ноги, а сам Васька все равно мерз. До ста одежек, как Степаныч, он еще не дошел, но толстый свитер под куртку уже надевал. На улице на него удивленно оглядывались, и он стал оставлять свитер на работе. В кроссовках же по городу шагал, и ему казалось, что кто-то подшутил над ним, и вместо того, чтобы взять напрокат его время и силы, взял его жизнь без остатка.

Кроссовки все труднее расстегивались дома, словно не хотели расставаться со своим хозяином, липучки теснее прижимались друг к другу и издавали пронзительный треск, когда их разъединяли.

Когда Рыбаков спросил у Васьки, не нужно ли ему выдать меховую куртку, он испугался и наотрез отказался.

Шеф уточнил:

— Ты думаешь, мы тебе такой же, как Степанычу, ватник дадим? Все будет по фирме.

— Мне и так тепло, — ответил телохранитель, напрягаясь, чтобы не застучать зубами от холода и неуютности.

— Ну как знаешь, — задумчиво произнес шеф, оглядывая его застекленевшими, как у уснувшей рыбы, глазами.

С этого момента Васька стал замечать, что кроссовки, сшитые как по нему, теперь сдавливали ноги все сильнее, и ходить никуда не хотелось. Да и куда было ходить? Шеф редко выезжал, а если и выезжал, то обычно один. Он ходил озабоченный, с серебристой щетиной на щеках, шуршал какими-то бумагами, и был похож своим бессмысленным энтузиазмом на опального партработника.

Васька же почти всегда торчал в коридоре, он уже напоминал второго гардеробщика. Ковбойская поза была давно забыта, и ни у кого из посетителей теперь не возникало желания развернуться, когда они видели телохранителя. Выглядел он вполне безобидно. Непослушный ежик волос, съежившиеся то ли от холода, то ли от смущения плечи, бледные безвольные пальцы и медленные заторможенные движения.

Думать Ваське ни о чем не хотелось. Как кроссовки при каждом шаге приносили ему боль, так и при каждой мысли в голове рождалось что-то неведомое, ослепляющее, неприятное. И только полусонное-полудремотное состояние приносило покой.

Три кабинета стояли перед ним прочно, как три кита. Ошибались древние наивные люди, полагая, что Земля держится на китах. На кабинетах она держится. С такими вот строгими, незамысловатыми, неприступными дверями, за которыми решаются разнообразные судьбы.

С каждой потревоженной костяшкой счетов истачивается чья-то жизнь, истончается паутина событий, прерывается звон воспоминаний.

С каждым отчетом, где речь идет о чисто производственных единицах, написанным напыщенным, резиновым слогом, прославляется однообразность бытия.

И благодаря стандартным сделкам, достигаются нестандартные результаты.

В этих трех кабинетах туда-сюда сновали люди — все с разной внешностью, но чем-то неуловимо напоминающие Рыбакова — молчаливые и непроницаемые. Они были неизменно вежливы и с Васькой, и со Степанычем. Говорили: доброе утро, как здоровье (только почему-то без вопросительного знака), всего хорошего.

Были среди них и молодые, одного возраста с Васькой. Но никто и никогда не остановился рядом с ним, чтобы просто поболтать. Они только передавали поручения Рыбакова. И у всех на лицах появлялось напряженное выражение, а в голосе — металлические нотки, если вдруг им казалось, что Васька лез не в свои дела и задавал лишние вопросы. А Васька продолжал их задавать, правда, не так часто, как в первое время.

Что же делают в этом кооперативе? Что находится в твердых, аккуратных свертках, которые он отвозит с шефом? Зачем Рыбакову гардеробщик и телохранитель? Почему их бижутерию — глиняные бусы, серьги-висюльки и пластмас-

совые кольца (очевидно, для носа) не отправляют на Малайские острова?

Васька старательно облекал содержание этих вопросов в цветистую форму, чтобы не повторяться. Но никого не волновали его стилистические изыски, работники кооператива к формалистам явно не относились. Они сразу же из всех отлично выстроенных вопросов выкристаллизовывали саму суть, и удивлялись, почему она всегда одна и та же.

Известно ли что было Степанычу? Он работал здесь третий год, и, наверное, что-то не миновало его взора. Но в ответ на расспросы старик только качал головой:

— Да мне-то что, какая разница? Ничего не знаю. И ты не лезь. Не советую. Каждый сверчок должен знать свой шесток.

Он отвечал добродушным тоном, а в голосе его, как показалось Ваське, звучали те же самые металлические нотки. Но Васька быстро погасил свои подозрения. Степаныч держался с таким безразличием, что подозревать его в каких-то скрываемых сведениях было бы по крайней мере нелепо.

Васька и сам подпадал под влияние этого безразличия. Длинный коридор казался еще длинней. Водоросли тишины качались медленно и мерно. Выходящие из дверей люди как никогда походили на рыб плавностью поступи.

Лишь дома с Васьки словно пелена спадала. Сколько раз он говорил себе, что на этом его трудовая биография в кооперативе закончена, и удивлялся, как он мог все это терпеть так долго. Но на следующий день все повторялось снова. Он усаживался на стул и забывал о своих недавних обещаниях самому себе.

И только странный сон заставил его принять окончательное решение.

Он шел сначала по берегу реки, потом пошел по дну. Камни были большие, мокрые (ну а какие же еще?), обросшие скользким мохом. При каждом шаге Васька спотыкался. Вода выталкивала его наверх, но кроссовки прочно тянули вниз. Свет сюда почти не проникал, и только где-то далеко мерцало

бирюзовое солнце. На дне же царила густая чернота зелени.

Рубашка то прилипала к телу, то звонко шлепала пузырем. Руки и ноги, которые по законам физики должны были стать легче, напротив, наливались свинцовой тяжестью, и давление воды никак не могло справиться со своим пленником.

Мимо бесконечным потоком проплывали те рыбы, которых Васька видел в своей жизни — в аквариумах, водоемах, ведрах, на прилавках. Гупешки, меченосцы, кардиналы, караси, окуньки, мойва, минтай, селедка, горбуша.

На этом познания Васьки в этом виде позвоночных животных не исчерпывались, но узнавать рыбок становилось все труднее. Они деформировались, менялись друг с другом плавниками, хвостами, глазами, головами. Постепенно и Васька был ввинчен в этот водоворот. Его кроссовки вместо плавников захватил минтай. Рубашка скрыла цветастый наряд гуппи, чем тот оказался очень недоволен. В джинсы закутался угорь. Сам же Васька передвигался уже не в вертикальном положении.

Он не знал, бывают ли русалками мужчины, но он, кажется, ею стал. Нижняя половина туловища переросла в хвост, а верхняя чесалась, как будто там прорезались зубы — но вместо них появились плавники, кожа покрывалась мягкой, как глина, чешуей, которая тут же закостенела. И вот уже плыла не русалка, а вполне добротная рыбка. Впереди замаячила какая-то мелочь, и Васька понял, что голоден. Но тут увидел Рыбакова. Тот стоял с сачком в руках, которым ловят бабочек. Ласково улыбаясь, он пошел навстречу. Васька попытался вывернуться, но сачок нежно накрыл его…

На следующий день Васька, едва завидев шефа, бросился к нему:

— Петр Семенович, поговорить бы надо.

Шеф лениво кивнул.

— Я ухожу.

Правая бровь Рыбакова поднялась вверх:

— Куда?

— Да в другой кооператив, — соврал Васька.

— А что там?

— Платят больше.

— Сколько? — Рыбаков говорил резко и кратко, как будто слова топором рубил.

— Три тысячи, — бухнул телохранитель, как бы в оправдание, мол, что делать, не хотел уходить, да такие деньги предлагают.

— Ладно, — не задумываясь ответил шеф.

— Мы тебе сделаем оклад — четыре.

— Нет, — взмолился Васька. — Не надо. Ухожу. — Но в объяснения вдаваться не стал.

— Как знаешь, — Рыбаков не был расположен к уговорам. — Завтра — за расчетом. — И удалился.

Васька еле-еле дождался окончания рабочего дня. Его переполняла радость. Теперь он не понимал, зачем торчал в этом кооперативе несколько месяцев.

Скоро начнется новая жизнь. Правда, он не мог определить, что это за новая такая жизнь начнется. Опять стенды с обещаниями бесплатных обедов? Опять перепродавать джинсы? Опять ноги понесут к драмтеатру, где Майкл, а попросту Михаил Исаакович, будет норовить ободряюще похлопать по плечу — низверженных с высот быстро прощают? Но думать об этом Васька пока не хотел.

Главное, что он теперь не будет параллельно осваивать профессию гардеробщика и бессмысленно смотреть в одну точку.

…С расчетом не спешили. Васька сидел на краю стула, но не от скромности, а чтобы показать, что он тут посторонний человек, который присел на минутку.

Рядом с ним стояли итальянские кроссовки, которые он собирался возвратить щедрому кооперативу.

Работники кооператива как-то странно поглядывали на него, словно он чем-то отличился, и старались быстрее миновать их со Степанычем.

Да и Степаныч не дремал, как обычно, а недовольно сопел. Старик настолько был занят своими размышлениями, что даже не заметил очередного посетителя, чего с ним раньше не бывало, и не поспешил снять с него пальто.

Так и проходил день. Васька уже начал подумывать, а не плюнуть ли ему на расчет и не смотать ли удочки. Коридор, и без того темный, стал еще темнее — за окном вечерело.

Но наконец вышел Рыбаков. Васька невольно опять испытал восторженное чувство, когда двери распахнулись, и золотистые лучи из кабинета шефа всколыхнули унылое помещение. Но, пожалуй, в этот раз Рыбаков не соответствовал этому свету. Щетина на его щеках была серой и обильной. Он не торопясь вытащил из-за пазухи зажигалку в виде пистолета. Васька удивился, что шеф не приобретет себе что-нибудь пооригинальней и поизящней.

Рыбаков задумчиво посмотрел на телохранителя, покрутил в пальцах свою блестящую игрушку и как-то неловко выстрелил.

— Да это не зажигалка, — ахнул Васька.

На лице Рыбакова замерло брезгливое выражение, Васька не сразу понял, что оно вызвано видом его крови. Раздался еще один выстрел, лицо Рыбакова разлетелось на мелкие кусочки и погасло.

— Опять намусорили, — сокрушенно по качал головой Степаныч.

Рыбаков вытер о пиджак пистолет, как будто это был нож со следами крови.

— Четвертый уже, — продолжал качать головой гардеробщик.

С лица Рыбакова сошло брезгливое выражение и появилось печальное:

— Убери его.

— Хорошо сказать, убери, — заворчал Степаныч. — Кто стреляет, кто — убирает.

Но Рыбакова в коридоре уже не было.

Старик подошел к окну и стал открывать неподдающуюся скрипящую раму. Посадил занозу и выругался. Наконец открыл. Васька был не такой уж тяжелый, как можно было ожидать от его роста и комплекции. «Наверное, кости легкие», — решил Степаныч.

Чтобы не измазаться кровью, он снял с Васьки вареную куртку в красных пятнах и бросил ее поближе к своему стулу. Рубашка, как ни странно, тоже была в крови. Но это Степаныча уже не волновало, ему надоело возиться с парнишкой. Он спихнул его в окно и подождал, когда до него донесется глухой звук упавшего тела. Потом вернулся на свое место и задумчиво посмотрел на оставленные Васькой кроссовки. Степаныч постучался в блестящую дверь и прокричал:

— Рыбак, кроссовки-то я возьму что ли, ась?

Ответа не было, да ответ и не был нужен.

Новогодняя ночь

Около гаражей никого не было. Лунный свет, так рано появляющийся зимой, уже пробежался по железному покрытию гаражей и замер на них четкими светящимися пятнами, откидывая вытянутые тени на рыхлые нетронутые сугробы. Заброшенность пустыря приобрела в этот предпраздничный вечер особую прелесть, ветки, опавшие с проносимых по пустырю елок, напоминали о Новом годе и не выглядели сейчас такими невзрачными и жалкими, как утром.

Филиппенко, вдыхая свежий, насыщенный хвоей воздух, засомневался вдруг, стоит ли осуществлять свою затею, но рука уже нащупывала в просторном теплом кармане дубленки ключ от гаража. Он вывел на улицу поблескивающую при лунном свете машину, полюбовался ее силуэтом и завел мотор. Пустырь сразу преобразился: резкий свет от фар словно откинул от себя сугробы, и, разрезая снег своим мощным корпусом, визжа и урча, машина выкатила на шоссе. Вскоре Филиппенко вывернул на главную магистраль и уже через несколько минут затерялся в пестром потоке машин.

…В свой подъезд он вбежал возбужденный, перепрыгивая через ступеньки, поднялся наверх. С порога квартиры закричал:

— Лидочка, с Новым годом!

Жена вышла к нему неторопливой плавной походкой, улыбнулась и, стараясь не нарушать наведенной гармонии косметики на лице, только легонько прикоснулась к его пылающей с мороза щеке. Она еще не успела переодеться, и ее лицо, ставшее очень красивым, почти фарфоровым, словно жило отдельной жизнью от тела — так не сочетались корот-

кий застиранный халатик и искусный вечерний грим, на который была потрачена уйма времени — глаза ее, блестящие, почти черные, раскрылись, засияли новой холодноватой уверенностью в своих чарах. Филиппенко задумчиво и смущенно поглядел на нее и протянул сверток.

Лидочка заинтересованно развернула его:

— Духи! Французские! — она еще раз коснулась его щеки.— Но почему так рано? До Нового года еще не сколько часов.

— Дело в том,— медлил Филиппенко,— что у меня сегодня дежурство на работе.

— Какое еще дежурство? — Духи были отложены в сторону, Лидочка пошла следом за мужем на кухню.

Здесь в подготовительном беспорядке стояли праздничные блюда. Филиппенко, рассматривая многочисленные кастрюльки и тарелки, пожал плечами.

— Ну что я, виноват? Назначили. Дай лучше пожевать что-нибудь.

— Так как же? Мы стольких людей пригласили…

— Лидочка,— сказал нетерпеливым голосом Филиппенко,— пойми, что это от меня не зависит. Должен был другой дежурить, но он заболел неожиданно, а я — второй по графику дежурств.

— Надо же…— сокрушалась Лидочка.— И это в самый Новый год.

— Мне тоже очень жаль, но что поделаешь,— он отодвинул немного в сторону кухонную занавеску и вгляделся в темноту, пытаясь различить силуэт стоящей там машины.

В кухню забежал их сын — Димка. На ходу схватил со стола вилку, запустил ее в салатницу, с опаской косясь на мать — как бы не заругалась — и прожевав, сообщил:

— Мам, пап, не хочу вам мешать и удаляюсь на торжественную часть в другое место.

Филиппенко с недоумением оглядел сверху вниз нескладную, сильно вытянувшуюся согласно суровым законам акселерации фигуру сына и переспросил:

— Что-то я не понял, куда это ты удаляешься?

— К друзьям,— Димка капризно поджал губы, и его подвижное лицо, так похожее на материнское, сморщилось, исказилось.

— Никаких друзей! Я ухожу на дежурство, а мать что — одна будет?

— Одна,— протянул Димка,— сами напригласали кучу народа, а теперь — одна.

— То — чужие люди,— назидательно сказал Филиппенко,— а ты сын. Новый год, как ты знаешь, праздник семейный.

— Ага, семейный. А сам-то уходишь.

— То — я,— строго ответил он, думая, что сын совсем разболтался, недаром говорят, что переходный возраст — 15 лет — самый трудный,— у меня дежурство на работе.

— Ну ладно,— недовольный Димка ушел. Филиппенко посмотрел на часы, стрелка подходила к восьми, с минуты на минуту должны были подойти гости. Ему не хотелось с ними встречаться, чтобы не успеть почувствовать атмосферу надвигающегося праздника; он сдернул с вешалки дубленку и, на ходу застегиваясь, выбежал во двор.

Машин становилось все меньше — водители спешили домой, всюду попадались такси с неумолимыми табличками «в парк». Все чаще его машину останавливали люди с поднятыми руками, Филиппенко лениво притормаживал, и они, весело галдя, усаживались, звонко хлопая дверцами. Все веселее становились компании, почти не считая, совали скомканные бумажки и исчезали. Филиппенко на ладони взвешивал мятые рублевки и, так же, не считая, заталкивал их небрежно в карман.

Постепенно эта затея все больше нравилась ему, он порадовался своей предприимчивости, и недавние сомнения стали смешны. В конце концов, в жизни он немало встретил праздников, все они были чем-то похожи, и давно пришла пора их разнообразить.

Идея воспользоваться праздником пришла ему в прошлый Новый год, когда они сами сели вот так же к какому-то автолюбителю и сунули ему в праздничной суете гораздо больше денег, чем следовало бы.

Филиппенко, насвистывая, ехал дальше. Не пренебрегал он и теми компаниями, где количество народа превышало допустимое число пассажиров — милиция в Новый год смотрит на нарушения сквозь пальцы. Филиппенко вначале старался проехать по каким-нибудь темным переулкам, но безнаказанность опьяняла, и он оказывался на центральных улицах. В двенадцатом часу поток пассажиров схлынул, еще брели одинокие фигуры с шампанским в руках, но в машине они не нуждались. Последними пассажирами до встречи Нового года оказалась группа девушек, совсем молоденьких. Филиппенко машинально отыскивал среди них самую красивую, прошелся взглядом по их раскрасневшимся личикам и отметил одну — в пушистой шапочке — не красивая даже, а еще по-детски милая — курносая, с задорными темными глазами, она все смеялась, а Филиппенко поглядывал на нее в зеркальце — несколько покровительственно. Девчонки болтали, громко хохотали и старались вовлечь его в свой разговор. Он не отмалчивался, но держался от них на дистанции. Ему вдруг захотелось еще раз увидеть эту девочку в пушистой шапочке.

Уже на площади, куда направлялись девушки, решился и спросил у нее: «Может, встретимся?» Она покраснела, пожала плечами. Филиппенко задержал на ней многозначительный взгляд, и, вытащив блокнот с корочкой из натуральной кожи, записал ее телефон. С девушек денег пришлось не брать. Он посидел в раздумье, не опрометчиво ли поступил, взяв этот телефон. Может, и не позвонит никогда, а путь неблизкий проехал, потом махнул рукой: да разбогатеет, что ли, девчонки, видно, первокурсницы, со стипендии много ли денег? Рукой махнул, а сомнения остались. Он подумал, ехать ли за новыми клиентами или дождаться начала Нового года — встретить его тут на площади, под общее «ура». Издали огромный Дед Мороз испытующе смотрел на него из-под широких раскрашенных бровей, и Снегурочка приветственно поднимала руку в голубой подтаявшей варежке. Елка, как неутомимый волчок, кружилась вокруг своей оси, подрагивая картонными зайца-

ми и стеклянными матовыми шарами. Филиппенко задумчиво обозревал это бутафорское новогоднее великолепие, пока его осмотр не прервал чей-то голос:

— Довези, друг, очень надо.

Филиппенко оценивающе глянул на него: видно, при деньгах, но нет, надо Новый год не в машине встречать, и сказал твердо, вовсе не за тем, чтобы набить цену:

— Посмотри на часы, скоро двенадцать, я не человек, что ли?

Мужчина продолжал просить, протягивая двадцатипятирублевку.

Филиппенко покосился на нее: да что он, дурак из-за этого «ура» торчать здесь на площади, и раскрыл дверцу, правда, не сразу, еще некоторое время не отказывая себе в удовольствии послушать заискивающие мольбы. Вскоре мужчина вылез из машины и, видно, даже не жалея своей четвертной, пожелал ему счастливого Нового года, пригласил, было, даже к себе, Филиппенко кисло поблагодарил его и поехал опять к площади.

Теперь, когда пробило двенадцать, Филиппенко не подвозил каждого желающего, а все что-то высматривал, выгадывал, как заправский таксист, и даже интонацию он усвоил новую: приятельски-небрежную. И деньги сыпались на него, как из рога изобилия. Он устал уже от этих денег, мелькавших перед глазами.

Но все бы ничего, если бы не эта подвыпившая компания. Подбежали: «Шеф, едем». Филиппенко неторопливо вытащил изо рта сигарету и, глядя равнодушно в сторону, спросил: «Куда?» Все на разные голоса стали объяснять, и тут он услышал:

— Здорово, Филиппенко.

Он вздрогнул, в его планы вовсе не входила встреча со знакомыми. Это был Витек, работающий в соседнем отделе. Приблизив молоденькое губастенькое лицо, Витек бурно поздоровался с ним и, выхватив из своего распахнутого полушубка шампанское, принялся открывать бутылку и одновременно подмигивать ему раскосым смеющимся глазом. Филиппенко

отказывался от шампанского, говорил, что за рулем, но Витек не отставал — пришлось выпить, компания громко и радостно кричащая по этому поводу, глазела на то, как торопливо он глотает вино, не разбирая вкуса, а потом мигом устроилась в машине, объяснясь между собой: «Это друг Витька, он нас довезет, удачно сели, а то машин не найдешь». Как ни старался Филиппенко быстро выпить свою долю, он застал свою машину уже забитой до отказа. Выругавшись, он нашел Витька и вытащил его на свежий воздух:

— Слушай, старик, мне некогда вас подвозить, извини, но не могу.

Витек непонимающе покачал головой:

— А ты куда сейчас? Нам же в одну сторону? Где Лидочка?

— Мне в другую сторону.

— Ага,— погрозил пальцем тот,— ты с женщиной.

— С какой еще женщиной?!

— Ну ладно, брось,— Витек пьяно качнулся. Филиппенко в сердцах сплюнул и сел в машину. После этого настроение испортилось. Он и не думал, что может встретиться со знакомыми, ладно, что Витек ничего не понял. Все же он, Филиппенко, руководитель группы в проектном институте.

Теперь Филиппенко старательно избегал особенно многолюдных мест, везде ему чудились знакомые. Он пугался этих счастливых лиц, но они словно преследовали его, и он путался в пересечении приглушенного света узкогрудых фонарей и матового света заиндевевших окон. Все были беззаботны по-праздничному, а он, гонимый тревожной мыслью, кружил по городу, не узнавая улиц, домов, лишний в этом неистовом карнавальном веселье зимы. Так довольный вначале своей находчивостью, он думал, что в доме его сейчас веселятся друзья, и ему было горько от этого, как будто по их просьбе он болтался всю ночь по ярко освещенным площадям. Впрочем, утешением для него были плотно набитые карманы. Клонило ко сну. Филиппенко хоть и старался выспаться перед этим своим «дежурством», но ночь подходила к концу, а он не сомкнул глаз. Не было даже сил отвезти машину в гараж, он

оставил ее около дома и поднял глаза на окна: в квартире еще горел свет.

Гости встретили его радостно, долго жали руку, обнимали, жалели:

— Не повезло тебе, назначили дежурство. Тут же налили «штрафную».

И, странное дело, Филиппенко самому было жаль себя, как будто его, действительно, оторвали силой от друзей, от праздничного стола. Он отогревал закоченевшие пальцы, сидел, ослабевающий от теплоты, от выпитого вина, и силился избавиться от сна, стараясь продлить это ощущение близости с домом, с друзьями, понимая, как не хватало ему их в эту новогоднюю ночь. Но сон не отступал, он стягивал цепкими обручами голову и затуманивал сознание. Филиппенко встал из-за стола и направился в свою комнату.

Около дверей стояла большая картонная коробка, он заглянул в нее и застыл пораженный: в ней лежала разбитая на десятки мелких, искрящихся осколков хрустальная люстра, которая была куплена неделю назад на две его зарплаты. Он бессмысленно глядел на замысловато разъединенные осколки, переливающиеся в местах слома, и чувствовал, что не может избавиться от такой усталости, какую еще ни разу в жизни не испытывал. Ему сейчас были безразличны набитые карманы дубленки, которые он даже не потрудился освободить, и была безразлична эта сломанная люстра, словно назло сияющая ярче, чем целая.

В комнату зашла Лидочка, тоже заглянула в коробку и объяснила:

— Видимо, мы плохо люстру укрепили, когда танцевали — упала.

Лидочка прижалась к нему налитым теплотой и нежностью телом, обдав терпким запахом восточных духов.

Филиппенко молчал, перешагнул через коробку, обессиленный и опустошенный, лег на кровать и натянул одеяло до самого подбородка.

Босиком по траве

Где-то внутри нарастало раздражающее ощущение, как воронка, постепенно затягивающее в себя другие чувства: ощущение пустоты в животе. Старик, знавший уже по опыту, во что оно перейдет, лег ничком на кровать и уткнулся лицом в примятую, давно уже не имеющую формы подушку. Глухо и размеренно застучало в висках, в глазах запрыгали огоньки ярких цветов. И только теперь боль — давящая, ни с чем не сравнимая, навалилась на него. Она то затихала на мгновение, то возвращалась резкими толчками, то скручивала монотонно, въедливо, то продвигалась из стороны в сторону…

…Жил старик один. Соседи называли его «вдовцом». Со временем это слово как бы срослось, сроднилось с ним. Теперь оно больше обозначало самого старика, чем его семейное положение. Старик почти забыл свою прошлую жизнь и очень редко вспоминал о ней. Говорят, что пожилые люди только и занимаются тем, что вспоминают, ибо им больше ничего не остается. Но старик будто бы жил второй жизнью. И была она почти не связана с первой, а первая и происходила-то даже не с ним, и случайно осталась в памяти, как безыскусная чужая история, описанная в книге, неизвестно даже почему запомнившейся.

О смерти он не думал, то есть мысли о ней приходили, конечно, но они были лишены трагизма или священного трепета перед ней. Он чувствовал, что времени остается мало, и потому каждая мелочь становилась для него весомой, ощутимой. Многое, мимо чего он раньше проходил не задумываясь, теперь удивляло и радовало его, будь это игра детей в песочнице или разговор со случайным попутчиком.

Из немногих воспоминаний, посещавших старика, одно было неизменным и частым: он, маленький, бежит босиком по траве, на нем белая рубашонка с закатанными рукавами, чтобы на них не были заметны дырки (иголка уже не берет материю — настолько она ветхая и застиранная). Худенький, босоногий, растущий в бедности, делящий со своими братьями и сестрами небогатую пищу и одежду, он бежит и бежит по этому некошеному лугу, выплескивающему на него холодную прозрачную росу с длинных упругих стеблей, которые тянут вверх к солнцу свое переливающееся одеяние, чтобы под его светом вспыхнуть еще ярче. И душа его, неокрепшая, не закаленная еще жизненными невзгодами, тянется к этому светлому и высокому, и текут слезы, не те слезы обиды, когда батя разок-другой проходится ремнем ниже спины, а слезы новые. И все смешивается в этом необыкновенном круге: сияющее солнце падает на траву, налитую утренней росой, и пронзительность лучей рассекает пространство восходящего летнего дня. А он, зареванный, задыхается от восторга, от нескончаемости луга, от простора будущей жизни, и перед ним встает что-то неразгаданное, радостное…

Воспоминание это стало для старика чем-то необходимым и с годами приобрело некоторую декоративность, приукрашенность от бесконечного повторения. В минуты приступов боли оно так же приходило к нему, но было даже не противопоставлено боли, а по своей обостренности сплеталось с ней…

…Боль так же неожиданно прошла, как и появилась, отпустила внезапно, от нее остался только металлический привкус во рту, да еще слабость. Старик встал с кровати и долго поправлял скомканное одеяло, разглаживая его складки. Внезапно тошнота подступила к горлу. Старик засуетился, вспомнил, что еще не завтракал. Он открыл хлебницу, там на дне валялась засохшая корка, обросшая белесыми чешуйками плесени.

Надо было идти за хлебом. Слабость еще не прошла, та старик уже натягивал пальто, стараясь быстрей избавиться от его

тяжести. Неожиданно в дверь постучали, и тут же она распахнулась. Светлый квадрат дверного проема почти полностью заслонил широкоплечий мужской силуэт.

Сильные руки сжали старика. Он, пытаясь разглядеть нежданного гостя, пробовал инстинктивно освободиться от этих объятий, и в конце концов не разглядел даже, а почувствовал:

— Колька, сынок!

И вновь объятие закружило старика, пахнуло незнакомыми запахами дорогих сигарет, одеколона.

— Что ж ты, как красна-то девица надушился? — спросил старик. Колька загоготал — радостный, выставив вперед чисто выскобленный подбородок.

И оба они смеялись, глядели друг на друга, понимая, что смеются не этому, и были довольны друг другом, этой встречей. Насмеявшись вдоволь, они устало замолчали, лишь губы их оставались растянутыми в улыбках. Колька опять бросился к старику, прижимаясь ярким влажным ртом к его воспаленной щеке.

…В комнате Колька долго с жадностью глядел на измученное лицо отца с нездоровым оттенком желтизны. Оба молчали, не зная, как продолжить разговор,— ничего не приходило на ум, кроме дежурных неопределенных фраз: «Ну как жизнь? Каким ветром?» А что-то важное ускользало от них, и неуклюжие фразы провисали в воздухе, оставляя чувство неловкости. Колька первый справился с этой отчужденностью и уже затараторил привычно, увлеченный своими проблемами,— глубокая складка врезалась в его лоб, в глазах промелькнула озабоченность.

Старик внимательно следил за его уверенным лицом, притягивающим к себе обаянием— ему было уже тридцать пять, и черты лица приобрели большую мужественность и сдержанность, но в остальном это был тот же Колька — жизнерадостный, ловкий, красивый…

— С женой-то у тебя как? — некстати спросил старик. Колька, рассказывающий что-то о своей работе, осекся, запнулся на полуслове, потом махнул рукой:

— А ну ее!

Старик промолчал, чувствуя, как постепенно угасает радость встречи с сыном и надвигается безотчетная усталость. Колька это молчание расценил как деликатность и, не желая оказаться неоткровенным с отцом, пустился в долгие объяснения.

Старик откинулся на спинку стула, прикрыл глаза. Он не видел сына пять лет, он соскучился, в конце концов. Это единственный, любимый сын, та нить, которая связывает его с прошлым. Неужели ему в тягость эта встреча? Нет, он просто устал, и еще этот приступ сегодня. Все поправится, надо только переждать этот трудный момент. И почему же Колька не предупредил о своем приезде? Неожиданные радости всегда с примесью какой-то непонятной горечи.

— Отец, а ты что в пальто-то сидишь? — спохватился Колька, выпрямляясь во весь рост.

— За хлебом я, сынок, собрался.

— Так я сбегаю!

Старик выставил протестующе ладонь:

— Нет, сынок. Ты посиди, отдохни с дороги. А мне все равно прогуляться надо, голова с самого утра болит.

— Да я мигом!

— Нет, нет,— не соглашался старик.

В коридоре он потуже запахнулся в просторное пальто и стал спускаться, осторожно нащупывая одной ногой последующую ступеньку.

На крыльце стояла Платоновна, она поеживалась от пронзительного ветра, но не уходила. Осень разогнала пенсионеров, обживших за долгое лето лавочки, редко кто теперь задерживался на них, спеша в теплые нагретые комнаты. Старик, увидев Платоновну, почел это за добрый знак.

— Здравствуй, Платоновна.

— Здрасьте,— часто закивала она,— ну как дела-то? Язва не мучает? А у меня…

Начался длинный список болезней. Старика сегодня это немного раздражало — он был слишком взволнован, чтобы

вникнуть в болезни Платоновны. Но на всякий случай он сказал:

— А ко мне сын приехал.

Платоновна всплеснула руками:

— Да что ты! Вот радость то какая! Вот уж радость так радость!

Платоновна задумалась, собираясь с мыслями. Старик переехал в новый дом несколько лет назад (бывший его дом был под снос), сам о своей семье ничего не рассказывал, на вопросы о ней отвечал неохотно, говорил, правда, о сыне — что живет в Москве, но, как остальные, не выходил во двор похвастаться письмами, как бы случайно вертя их в руках, пока не спросят: никак вы письмо получили? Молчание старика расценили так, что сын — его выдумка, да и то слишком благополучно и красиво выходило, чтобы быть правдой. Сын живет в Москве, защитил кандидатскую, жена — актриса, дети учатся в спецшколах. Старик, казалось, не замечал этого недоверия и к скупым фразам о сыне ничего не добавлял. Только по праздникам втыкал в трюмо открытки, исписанные мелким неразборчивым почерком с пожеланиями здоровья и долгих лет жизни.

Платоновна спросила старика, кто сын, откуда и, пополнив информацию, с завистью взглянула на старика: ишь ты! А старик неожиданно разговорился, вспомнил Кольку маленьким, какой рос он непослушный и хулиганистый. Бывало, сидят у них гости, а он — тут, как тут, проходит в комнату прямо в ботинках и, едва поздоровавшись, загребает из вазочки со стола половину всех конфет. А сейчас — большой человек, работает в НИИ (особенно произвело впечатление на Платоновну слово НИИ — было в нем что-то многозначительное). Старик и сам не заметил, как стал говорить о сыне с душевным подъемом, нежностью и отошел от Платоновны успокоенный.

Но теперь, когда не было одной определенной мысли, которая подчиняла бы себе прошлое, уже не сам старик управлял воспоминаниями, а они — им. И прошлое навалилось

на него всей своей тяжестью, словно бы мстя. Оно целиком захватило старика, сплетая в разноцветный клубок все прошедшие события, нагромождая одно на другое, и старик едва выдержал эту внезапную перемену своего сознания.

…Вот они с женой Зинаидой идут из роддома, отказавшись от такси, не задерживаясь у трамвайной остановки — холодный апрельский день. Они несут поочередно маленький, влажный от весеннего ветра сверток, ступая прямо в расплескавшиеся по дороге лужи, улыбаются и словно стараются оторваться от толпы родственников и знакомых, идущих за ними следом и сжимающих в руках букеты цветов.

Вот последнее письмо от Зинаиды: как ни странно, даже нежное, просит прощения: «Люблю его, не могу». И потом — постаревшая, под руку с тем — некрасивым, моргающим, с неровной челкой, в брюках мешком. А он стоит у двери и не пускает их в квартиру, и Колька, обхвативший его сзади ручонками, не пробьется к матери. Она не просит отдать Кольку, на прощанье говорит печально:

— Ты женись, Кольке легче будет.

И его слова:

— Зачем приходила-то?

Оглядывается:

— Кольку забрать.

И он, почувствовавший, что уже не заберет, осознающий свою силу, спрашивает высоким голосом:

— А чего ж?

Зинаида вздрагивает, сбивается платок:

— Береги его, милый,— и уходит навсегда.

Скоро он узнает о ее смерти.

Он стоит посередине комнаты, не слышащий орущего Кольку, и пытается что-то осмыслить, понять, будто поможет вернуть Зинаиду, пусть не в дом к нему, но вернуть.

Погибла она нелепо. На заводе кинулась на чей-то отчаянный крик. Женщина, не сумев совладать со станком, попала в его размеренное и страшно крутящееся нутро. Ей уже ничем нельзя было помочь, но Зинаида бросилась к ней, и вы-

шедшая из повиновения машина равнодушно втянула в себя новую жертву.

Он женился на другой — чего разошлись? — не помнит. Не мог он удерживать женщин, видно, не судьба, вроде и ласков был с ними, и не пил, и на лицо — не урод, а удержать не мог.

Говорили: «Странный ты, глядишь прямо, а будто не видишь, и о чем только думаешь?»

Но не потому не вспоминал старик своего прошлого, что хорошего ничего не помнил. Воспоминания все равно сводились к тому, как уходит Зинаида, и ее сбившийся платок стоял и стоял в памяти. Думал: до конца жизни не забудет, мучиться станет, а прошло, и усилий-то никаких не делал — само собой все улетучилось, словно стало существовать отдельной жизнью от него. Забыл и забыл, будто точку поставил.

…Старик вернулся из булочной усталый. Колька стоял на кухне у плиты с засученными рукавами рубашки — ярко блеснула из-под манжеты запонка — чистил картошку. Старик здесь же в кухне сел, не раздеваясь, на табурет, не мог отдышаться. Колька возвышался рядом, сопел:

— Говорил тебе, отец, не ходи, а ты…

Старик глядел на него молча, думал: «А все-таки хорошо, что он приехал».

Вскоре сели за стол. Колька вытащил бутылку, отыскал где-то в шкафу крохотные рюмки, о которых старик и не помнил.

Колька пил много, не успели оглянуться, как бутылка наполовину опустела.

Старик неожиданно для себя тоже поднял рюмку и, не думая о язве, одним махом проглотил теплую жидкость, оставившую горечь, помахал рукой у рта.

Колька с интересом посмотрел на отца, потом опять завел разговор о работе. Старик тут же запутался в должностях, именах, фамилиях: кто-то Кольку не понимал, ставил рогатки в его исследованиях, будто весь институт ополчился против него, старик глядел на сына слезящимися, подернутыми белесой пленкой глазами и верил, что тот, конечно, прав.

— А знаешь, Коль, что я тебе скажу,— начал старик,— помню, пацаном выбежал я с ребятами погулять, а потом, не знаю как, заблудился. И вот очутился на каком-то незнакомом лугу. А трава там по пояс, я бегу и ног не чувствую — как по воде. Куда ни оглянусь — трава да трава, будто и нет меня, растворился я в ней, и пути к дому не знаю, а только понимаю, что луг этот и приведет меня к дому…

Колька засмеялся:

— Ну ты, отец, что-то в детство ударился — луг какой-то.

Старик на минуту задумался, вглядываясь в открытое лицо Кольки:

— А ты из детства своего помнишь что-нибудь?

Колька помолчал, потом недоуменно пожал плечами. Старик стал вдруг медленно сгибаться, прижимая к животу тонкую руку с неровностями суставов, вылепленными на ней временем.

— Батя,— Колька вцепился в него сильными руками.

— Язва проклятая.

…Колька сидел на уголке кровати старика, держал хрупкий пластмассовый футлярчик с лекарством, хмурился:

— Что ж ты мне сразу про язву не сказал?

— А что про нее говорить? Язва как язва. У нас, стариков, болезней не оберешься.

— Погоди, отец, да что-то делать надо. Врачи-то что говорят?

— Да что говорят? Операцию надо делать.

— Ну так, значит, надо, болезнь-то прогрессировать будет.

— Оно, конечно, только уж что будет, то будет.

— Ладно, побегу «скорую» вызывать. Полежи, потом поговорим.

Колька умчался, старик, с трудом держащий веки открытыми, наконец закрыл их. Он безразлично подумал об операции, как о давно решенной проблеме: не согласится — потом о Кольке, о Зинаиде — круговорот прошедших событий промелькнул перед ним и возвратился к исходной точке: мальчонка в белой рубашке, солнце и нескончаемый луг…

В бассейне

Алевтине в бассейне нравилось. Работала она в женской раздевалке. Через каждый час туда приходили новые женщины, мелькали разноцветными одеждами, высвобождая из них тела: загорелые и матово-белые, гибкие и неуклюжие, молодые и тронутые увяданием. Алевтина глядела на этих женщин, смущавшихся, прикрывающих себя полотенцами, и чувствовала себя здесь хозяйкой. Потом она нетерпеливо ждала конца сеанса, когда дружная толпа брызнет в раздевалку, с удовольствием вбирала в себя многоголосый радостный шум; путаясь в номерах, нажимала кнопки пульта, от которых отскакивали металлические дверцы ящиков с одеждой. Потом она включала сушилку, в которой стоял густой запах, насыщенный пряной влажностью.

Женщины смеялись, рассаживались на ступеньках, распускали мокрые и потому кажущиеся негустыми волосы, распускали животы, и от этой расслабленности веяло сладкой истомой. Алевтина незлобиво поторапливала их, и они, с купальниками, сжатыми в тугие комки, бежали к своим ящичкам, блестя крупными бисерными каплями пота на разрумяненных лицах и звучно шлепая босыми ногами по линолеуму.

Иногда Алевтина выходила к бассейну и, глядя в его лазурную, неестественного цвета воду, наблюдала, как мелькают вдали яркие резиновые шапочки, исчезая в глубине.

Но больше всего Алевтина любила смотреть на тренировки: здесь были уже все знакомые, они не бултыхались беспомощно в бассейне — движения их были точны и размерены. Особенно нравился ей Никита, красивый мальчик

лет семнадцати; пожалуй, его красота могла показаться несколько слащавой, если бы не широкоплечая фигура, налитые бугры мышц. Когда он прыгал с вышки, его тело, словно в замедленной съемке, застывало в воздухе, нависая над всеми, и уже потом с силой врезалось в воду, так, что брызги фонтаном взлетали над ним. А через минуту его смеющаяся голова появлялась далеко от того места, куда он прыгал. Резко взмахивая руками, он плыл дальше, и казалось, что усталости у него будто и нет, и лишь когда он медленно выбирался на кафельную плитку, было заметно, что он устал.

Порой Алевтина пыталась мысленно отыскать для Никиты девушку, но все девушки, проходившие в раздевалке, казались недостойными его. Может быть, они были слишком реальны и никак не соединялись в ее воображении с романтическим образом Никиты. Его она видела только в бассейне, о другой его жизни не задумывалась, он существовал для нее только здесь — в этом царстве света, воды и радости, где даже сама обстановка обычных тренировок рассматривалась сквозь призму красоты и легкости бассейна. Ее восхищение Никитой было странным и несколько отвлеченным, словно восхищение неизвестным киноактером из зарубежного фильма. Он был слишком молод, чтобы она могла увидеть в нем мужчину, но достаточно взрослый, чтобы не относиться к нему, как к сыну, слишком загадочен, чтобы стать мимолетной мыслью, и из всего этого складывалось отношение Алевтины к нему: полувосторженное-полупечальное, когда трудно что-либо объяснить. Впрочем, мечтательность была вовсе не свойственна Алевтине, которая давно пережила возраст тяготения к идиллии, и она часто резко обрывала свои размышления о Никите, считая их чем-то запретным.

Жила Алевтина в полуторке, невзрачной и захолустной. Этого достаточно, чтобы понять значение для нее бассейна, в воздушной высоте которого ее безликое существование одинокой тридцатилетней женщины скрадывалось.

На каникулы из другого города к Алевтине приезжала племянница Таня (она училась в строительном техникуме) —

смешливая девочка с короткой стрижкой. Приехала она и на этот раз, такая же бойкая и оптимистичная. Напоследок перед отъездом она напросилась к Алевтине в бассейн, Алевтина взяла ее отчего-то неохотно, и худая угловатая фигура Тани маячила возле нее целый день. Изредка она раздевалась и бежала окунуться в бассейн. Когда Алевтина засобиралась домой, Таня убежала искупаться в последний раз, долго почему-то не возвращалась, и Алевтина вышла поторопить ее. Племянница сидела на корточках у борта бассейна и задумчиво глядела вдаль. Алевтина близоруко сощурилась, чтобы разглядеть, кто привлек ее внимание.

— Ничего мальчик,— обернулась Таня и кивнула в сторону, где плыл Никита. Потом засмеялась, опять полезла в бассейн и часто взмахивая руками, начала загребать под себя воду. Алевтина неодобрительно посмотрела на ее подвижную напрягшуюся спину и ушла.

Вечером Таня сообщила как бы мимоходом:

— У нас сегодня гости будут.

Алевтина недоуменно задержала на ней взгляд:

— Кто это?

— Увидишь,— засмеялась она.

…Когда в комнату вошел высокий смущающийся парнишка, что-то неуловимо-знакомое мелькнуло в нем. Потом ахнула: Никита! В одежде он казался немного неуклюжим, движения его утратили раскованность. Никита неловко сгибал руку, облокотившись на стол. Ей показалось, что исчезли одухотворенность, внутренняя сила, которые заставляли обращать на себя внимание там — в бассейне. Он вяло сидел на стуле, согнув колесом спину, и молчал. Таня, обычно не суетящаяся, забегала из кухни в комнату с подносом. Алевтина не знала, о чем с ним говорить и молчала тоже.

— Я, кажется, где-то вас видел,— наконец сказал он, откашлявшись.

Голос у него был ломкий, как у подростка.

— Так я работаю в бассейне, в раздевалке,— обрадованно объяснила Алевтина.

— А-а,— равнодушно протянул Никита и подошел к книжному шкафу, засунув руки в карманы брюк.— Можно у вас взять что-нибудь почитать?

— А чего ж? — согласилась Алевтина,— возьмите.

— Мне что-нибудь про милицию или приключения, есть? Во, «Инспектор и ночь» — интересная?

— Наверное, интересная, не помню.

Никита засунул книгу за пазуху:

— Спасибо.

Сели пить чай. Таня все смеялась, щебетала деланно тонким голосом:

— Никит, а тебе в бассейне нравится?

— Мне на КМС надо сдать,— ответил он, пожав плечами.

— А это что такое? — не поняла Таня. Никита медленно и солидно помешивал чаек:

— Кандидат в мастера спорта. Скоро решающие соревнования. На следующий год хочу в институт поступать, легче будет, спортсменов-то любят. А вообще бассейн люблю.

В его неловких скупых словах проглядывало какое-то безразличие ко всему, но Таня, не замечая этого, продолжала:

— Ты отлично смотришься в воде, знаешь, как полубог…

Никита улыбнулся, в его глазах на секунду мелькнуло оживление:

— Я там полубог. Тренер говорит, что я — молодец.

— Правильно говорит.

Чай был допит. Алевтина, обычно любившая поговорить, молчала, она чувствовала, как с каждой минутой уходит ее очарование бассейном, который олицетворял для нее Никита. «Впрочем, он, конечно, милый мальчик…»

Таня притащила магнитофон, включила его:

— Потанцуем.

Алевтина присоединилась вначале к ребятам, но с завистью поглядев, как легко они прыгают, ритмично выкидывая в сторону ноги, отошла, запыхавшись:

— Пойду, посуду помою.

Никто ее особенно не удерживал.

Вскоре в кухню вбежала разгоряченная племянница, шумно открыла холодильник:

— Где-то тут водка стояла, дай глотнуть.

Так же быстро Таня убежала.

Алевтина задумалась. Не то чтобы она была не рада Никите, по натуре общительная, она всегда с радостью встречала гостей, но сейчас к этому примешивалось какое-то горькое чувство, какая-то досада.

Она вытерла руки о фартук, снова направилась в комнату, но остановилась на полпути: свет там был выключен, из комнаты доносились мягкие лирические звуки музыки, и в объятии танца медленно двигались две тени. Алевтина вернулась в кухню, сосредоточенно открыла сумочку: надо было собраться на работу — проверила ключи, пропуск, деньги.

Через час дверь открылась, два голоса перенеслись ближе, можно было уже разобрать отдельные слова.

Алевтина вышла в коридор, Никита повернул к ней голову, натягивая спортивную курточку:

— До свидания, Алевтина.

Таня смеялась, висла у него на руке, потом ушла его проводить. Когда она вернулась, довольная, со сдвинутой набок челкой, Алевтина мельком взглянула на ее распухшие губы, но ничего не сказала.

Таня плюхнулась на табуретку, дунула снизу на челку:

— Он прелесть, правда, Алевтина? У меня, конечно, были мальчики получше, но этот тоже ничего.

На следующий день Таня уехала в свой город.

С этих пор Алевтина не выходила больше к бассейну, она сидела не двигаясь в раздевалке — ее стали раздражать бесконечно меняющиеся лица, улыбающиеся, распаренные; стали раздражать жалобы на отсутствие горячей воды — она пускает, что ли, воду?

Ее больше не угнетали выходные дни, наоборот, она ждала их с нетерпением. Теперь она не торопилась на работу, шла туда неохотно, и, глядя в одну точку, не то думала о чем-то, не

то вспоминала, а скорее всего, просто свыкалась с необходимостью отсиживать положенное время.

Но как-то Алевтине все же пришлось выйти к бассейну — ее попросили позвать тренера. Сердце ее сжалось от неведомой боли, словно ощутило какую-то потерю. Подсознательно она ждала изменений в этом зале в унисон своим переживаниям, но все оставалось по-прежнему, и от этого ей было еще горше.

Был здесь и Никита, но теперь Алевтина видела в нем не красоту и силу, а ту его неловкость, когда Таня висела у него на руке.

Никита, увидев Алевтину, подплыл к ней. Его влажное лицо сияло приветливостью, с подбородка сбегали крупные капли воды.

— Здравствуйте, я книгу вам принес,— закричал он, заглушая шум бассейна.

— Ну и как, понравилась? — безразлично поинтересовалась Алевтина.

— Можно читать. Я передам ее после тренировки.

— Да возьмите ее себе, ради бога,— сказала Алевтина, отвернулась и зашагала прочь.

Никита удивленно поглядел ей вслед, затем разбежался и, сложив руки лодочкой, по-мальчишески ухнув, прыгнул в воду…

В Карпатах

Вспоминать Слава не любил. Может, оттого, что жизнь так сложилась, и передумывать, перекручивать все на новый лад было тяжело, а может, по особенности характера — должны же люди чем-то отличаться друг от друга, об этом все время пишут в разных книгах.

Сейчас он сидел на тахте, поджав под себя ноги, и, сам того не замечая, покачивался взад-вперед. Наслаждение — сидеть просто так, не тупо уставясь в стенку, а наоборот — неожиданно остро воспринимать те будничные вещи, на которые обычно и внимания не обращаешь: как беспомощно и лениво проползает по потолку жужжащая муха, как гулко и замедленно звучат за окном голоса соседей, которые и узнать-то трудно, как неподвижен и расплывчат невзначай опрокинутый флакон одеколона. А стоило закрыть глаза — и можно было даже почувствовать течение времени (кто придумал, что это невозможно?) — оно перекатывалось из одного отрезка в другой, пульсировало мягко и волнующе в висках, обволакивало тело теплыми, покатыми волнами — время пробиралось к будущему, изменяя все вокруг.

На ум приходили какие-то красивые и сложные слова, которые в привычных разговорах редко услышишь, хоть и знаешь, что они есть, такие например: предугадать, непременно, белокаменный, неприкосновенный. Они возникали не в связи с какими-то мыслями, а сами по себе, их хотелось подогнать друг к другу, но это не получалось, едва соединившись, они разлетались. Но их так хотелось произнести снова: неприкосновенный, белокаменный, непременно, предугадать…

В дверь постучались. Это была высокая девушка, полусердито-полунасмешливо смотревшая на него, она застыла на пороге комнаты, Слава сразу узнал ее: она была гидом у туристической группы из Кургана.

В тот день первый автобус приехал рано. Экскурсионные группы появлялись обычно после двенадцати, одна дорога от Львова до Карпат — 200 км, а туристы выезжали после завтрака, но наиболее предприимчивые, как эти, договаривались с рестораном и подъезжали сюда пораньше.

Слава вышел из домика, где пил чай, и сказал бодро:

— Здравствуйте.

Туристы ответили нестройно, они неторопливо вылезали из автобуса, поеживаясь от холода и позевывая.

— Вы мою группу поведете? — спросила у него девушка.

Он ее раньше не видел, видимо, это была новенькая, а скорее всего, просто студентка из университета: летом они подрабатывали в «Спутнике».

— Одну вашу группу я не поведу,— лениво сообщил Слава,— будем другой дожидаться.

— Что ж мы, ждать должны?

— А я при чем? По одной группе не водим.

Эти привычные стычки с гидами давно уже не портили ему настроение, словно вошли в его служебные обязанности. Вскоре подъехал следующий автобус.

Слава взял рупор и, оглядев согнанную к домику толпу, сказал:

— Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав Александрович. Я ваш экскурсовод, поведу вас на скалы Довбуша.

— А не заблудимся? — крикнул кто-то.

— Не заблудимся,— привычно успокоил он,— если разбегаться не будете…

Все табором двинулись за ним, плотно облепив его со всех сторон. Слава не любил такие группы, где сталкивались люди разных возрастов. Первая группа была как раз такая, разношерстная — обязательно разбредутся в разные стороны, разыскивай их потом. Вторая — молодые учителя с Урала.

— Слава,— крикнули ему вослед,— сумку забери!

Он вернулся за сумкой, где лежал фотоаппарат, и, недовольно ворча, что «возвращаться — плохая примета», подумал, что забывает его третий день подряд, то ли склероз начинается, то ли просто не высыпается.

— Внимание,— сказал Слава в рупор и подул в него,— сейчас самый тяжелый подъем, триста метров, ну а там еще три километра…

Туристы поднимались тяжело, особенно из первой группы, более старшей по возрасту. Он шутил, что все дышат, как паровозы, но и сам шел не так уж легко, хотя это приходилось проделывать по нескольку раз в день и должен был привыкнуть. Ему недавно исполнилось тридцать девять, и внешне он был еще вполне в форме: не тонкий по-юношески, но подвижный, в плотных, резко очерченных бугорках мышц. Слава старался не замечать усталости, говорил без умолку, мимоходом срывая с кустов дикой малины незрелые ягоды, но дыхание перехватывало, и он, стараясь дышать глубже и спокойней, озабоченно кривил непослушные губы.

Наконец тяжелые метры были преодолены, и он, оглянувшись на далеко растянувшихся туристов, с удовлетворением замер в ожидании. Сколько бы раз он ни поднимался в горы, сердце его всегда счастливо замирало перед этой холодноватой суровой голубизной Карпат. С ними нужно было оставаться наедине, и он научился отключаться от всего, даже когда стоял вот так — в окружении очередной группы. Слова его взлетали над толпой четко и уверенно, но он не слышал самого себя, машинально повторяя привычный набор фраз: тут рядом граница, и нужно быть осторожными, не отходить далеко друг от друга. Еще он пугал туристов змеями, спрашивал, знают ли они, что нужно делать, если змея все-таки укусит. Туристы с радостью проявляли свою осведомленность, и он, с полуусмешкой выслушивал, как надо высасывать яд из ранки, согласно кивал головой.

Потом они остановились около колодца, долго черпали студеную воду, и ведро грохотало, булькало внутри колод-

ца — все вдруг разом почувствовали, что хотят пить, и, прижимаясь губами к холодному алюминиевому краю ведра, наклоняли его к себе, обливаясь и со смехом отпрыгивая от неосторожно выплеснутой воды.

Слава, смотревший со стороны на эту веселую возню, подбадривал их:

— Эта вода замечательная, здесь много минеральных веществ. Есть даже поверье, что если выпить все ведро, то помолодеешь на тридцать лет. Так что, товарищи женщины, имейте в виду.

Женщины смеялись недоверчиво, но, в свою очередь, старались отпить из ведра побольше.

Когда все напились, они зашагали дальше. Девочки-учителя окружили Славу:

— Вячеслав Александрович, а эта порода дерева как называется?

Он отвечал, не запоминая лиц.

— Вячеслав Александрович, а где вы живете?

— Вячеслав Александрович, а дети у вас есть?

Эти молодые учителя сами походили на школьников: то спорили о чем-то, то рассказывали что-то, и затем мгновенно взрывались многоголосым заразительным хохотом. Слава смеялся вместе с ними, не вслушиваясь в их шутки, а просто включаясь в общее настроение, и не замечал тех заинтересованных, многочисленных взглядов, которыми то одна, то другая одаривала его.

— Девочки,— спросил он,— а что это у вас мужиков-то так мало?

— Зато какие! — смеялись те.— Они у нас физкультурники.

Их ребята, действительно, были один к одному: высокие, здоровые, с одинаково непроницаемыми лицами.

— Айдате к нам,— сказали девчонки ему,— будете у нас в школе преподавать.

Слава шел легко, матерчатые туфли упруго пружинили по неровной дороге. Девчонки внимательно разглядывали его

парусиновые брюки, джинсовую курточку и осмотром оставались, кажется, довольны. Его правильное лицо с тяжеловатыми, без излишней тонкости, чертами, казалось мужественным. Слава нравился женщинам, но это его не волновало. Любовь, не связанную семьей, он считал пустой затеей. К чему эти ахи, вздохи, когда на свете столько всего красивого, чем, действительно, можно восхищаться, вот Карпаты, например. Жена готовила обеды, штопала носки, следила за сыном — за это ее любить было можно. А просто так, ради спортивного интереса встречаться с другой — потеря времени.

Они шли по давно протоптанным тропинкам, и девчонки, уставшие уже, примолкшие, старались разглядеть впереди скалы Довбуша.

— Вижу, вижу! — закричал кто-то.

— Есть легенда,— заученно сказал он,— что змея держит эту скалу, и если она отползет, то скала рухнет.

Тонкое извилистое дерево, почти без листвы, действительно, смахивало на змею, изгибалось уродливым корявым стволом. Если смотреть снизу, кажется, что скала медленно клонится к тебе.

Слава на миг зажмурился и резко открыл глаза: она угрожающе надвигалась на него бурой громадиной, высотой с пятиэтажный дом.

Здесь разбился его сын, пятнадцати лет, но на скале не было таблички с именем сына, их ставят только альпинистам, а не тем, кто по дурости полезет туда.

Слава проглотил комок, застрявший в горле, и торопливо пошел дальше:

— Ну, а вот — скалы Довбуша — цель нашего короткого путешествия. Здесь легендарный народный герой Украины XVIII века Довбуш скрывался от преследователей, а еще раньше здесь жили монахи-староверы. Они вручную, без всякой техники, выдолбили все эти ниши и ступеньки наверх. А вон там — на верхушке скалы — голова льва, видите? — если к ней прикоснуться правой рукой, то вас всю жизнь будет любить муж, а если левой…

Усталые экскурсанты валились на траву, с любопытством поглядывая на Славу.

— Товарищи, особенно не рассаживайтесь, сейчас наверх поднимемся.

Потом он, преодолевая неудобство, каждый раз возникающее при этих словах, сказал:

— Ну, а теперь, кто желает сфотографироваться… — и доставал из сумки маленькую потрепанную «Смену», стараясь не замечать чуть презрительных взглядов тех, кто сам фотографировал,— аппарат был из самых простейших, можно сказать — школьный, для начинающих,— даже на объективе против выдержки — рисунки дождя, солнца, тучки. У него был и другой фотоаппарат — «Зенит» — большой, солидный, в красивом коричневом футляре, но Слава редко брал его с собой, на «Смене» без особых ухищрений получались довольно приличные снимки.

Слава верил, что все на свете имеет свои следствия, у доброго дела — их меньше, но за дурное дело — воздается все в полном объеме.

Были ли его фотографии делом дурным, он не знал.

Экскурсанты радовались, что побывали в Карпатах и что-то останется на память: вот они стоят смеющиеся на фоне затянутых светлой дымкой гор, а внизу надпись — Карпаты, год такой-то. Разве не приятно вложить этот снимок в семейный альбом, а потом рассказывать за чаем, как здорово было стоять наверху и как скользили подошвы по гладкому, выровненному временем камню, но было не страшно, а весело, потом — спускались по крутым ступенькам, выдолбленным сотни лет назад трудолюбивыми монахами-староверами…

Да и брал он за снимки недорого — пятьдесят копеек за штуку.

Но какие бы благополучные причины он ни выдумывал для оправдания, просиживая ночами над увеличителем при красном свете фонаря, Слава мучился этой мыслью, и когда разбился сын, воспринял это как наказание за свои фотографии.

Без этих денег им с женой пришлось бы туго. Он и так долго не хотел фотографировать, другие экскурсоводы даже смеялись над его нерешительностью. Да и группы, которые он водил на скалы, выказывали разочарование, что их никто не сфотографирует, особенно, когда видели, как других туристов обхаживают с фотоаппаратами менее щепетильные экскурсоводы.

В поселке жили богато. Двухэтажные хаты были скорее двухэтажными особняками, и комнаты сдавали приезжающим по курсовкам в местный санаторий. Их хата по сравнению с другими была небольшая, аккуратная, вся расписанная цветами, а стены выложены зеркальной мозаикой. Другие сдавали этаж целиком. Слава по настоянию жены тоже попробовал сдать одну комнату, их жильцы даже ход имели свой. Но потом не выдержал, сказал жене, что чувствует себя в своем доме гостем, и в крайнем случае, если уж непременно нужен какой-нибудь побочный доход, примется за фотографии…

Впервые оказавшись здесь на экскурсии, он был ошарашен этим синим простором, упоительным спокойствием и мощью гор. У подножия Карпат Слава перекинулся шуткой с высокой яркой женщиной, торговавшей полусырыми шашлыками, да так и остался здесь, поселившись у этой пышной продавщицы… К тому времени его отношения с первой женой Мариной зашли в тупик. У них намечался развод.

Говорили здесь на чудовищной смеси венгерского, польского и чешского языков, и он поначалу не мог разобраться в этой речи, но потом привык.

Отношения с Мариной у них не стали враждебными, они переписывались и изредка посылали друг другу поздравления с праздниками. Сын Иван приезжал к нему на каникулы, приезжал охотно. Он быстро сошелся с местной ребятней, любимым их развлечением были вылазки в горы.

«Знал бы, что разобьется, никогда бы в горы не отпустил», — думал Слава, обхватив ладонью голову. Если бы знал… Да уж конечно, «знал бы, где упадешь, соломку бы подложил». Но

вот не знал, и упал его мальчик не на соломку, а на острые голые камни, не смягчившие падения. Как мог рассудительный не по годам Иван по примеру городских удальцов, наезжающих сюда по воскресеньям, полезть на эту скалу, где и выступов-то почти не было,— это вам не скалы Довбуша, измененные упорными человеческими руками, здесь заботливо выдолбленных ступенек нет. Его вина, его вина, отцовская… Не потому, что отпустил… Нет, не в этом его вина…

Когда он погиб, Слава не сразу сообщил Марине, она не успела даже на похороны. Не укоров боялся, а чего-то другого, неуловимого — словно горе ее умножит не страдания его, нет, а вину перед Иваном, перед недожитыми его годами, от которых осталась пара фотокарточек с красивым улыбчивым лицом да недолгая память друзей.

— Не прощу, Славка, что с сыном проститься не дал,— сказала опоздавшая, вся разом почерневшая Марина.

Все ожидали, что будет он следить за Юркой, младшим сыном, пуще глаза и что уйдет от гор, которые так неожиданно и коварно подвели его. Но не Карпаты он считал виновными, а себя, их же продолжал любить с острой горечью. К Юрке тоже интереса не повысил, словно знал, чувствовал, что ничего с младшим не случится — расплата произошла.

Он даже фотографией продолжал заниматься, не из необходимости, а от какой-то странной тягучей инерции.

— Девочки, напишите адрес, куда вам снимки выслать.

Девочки-учительницы стали громко спорить, чей адрес дать, наконец остановились на каком-то компромиссном решении и стали что-то писать на бумажке. Слава с безразличным видом спрятал фотоаппарат в сумку, туда же, не глядя, засунул бумажку с адресом.

— А гид-то ваш где? — вдруг спросил он.

— У ней нога болит, она связки растянула,— охотно ответили девочки.

— А-а, — протянул он, — ну ладно, я с вами прощаюсь.

Молодые учителя с сожалением взглянули на Славу, безразлично махнувшего им рукой.

— До свидания! — кричали они.— Приезжайте к нам в Курган!

Слава машинально кивнул в ответ.

Фотографии этой группы не получились. Такое бывало с ним редко, но иногда все же случалось. Первый раз это произошло, когда маленький Юрик из любопытства открыл бачок с проявляющейся пленкой. Слава, конечно, отругал и отшлепал сынишку, но нельзя было ничего поправить, и он хотел отослать собранные деньги обратно, да так и не собрался, пока это не забылось. Так потом и пошло. Иногда, когда снимки не получались, он возвращал деньги по указанным адресам, но почему-то в таких случаях это вызывало недовольство.

Итак, молодые учителя остались без фотографий, запечатлевших их на верхушке Довбуша. Слава уже и думать забыл об этой группе, но на этот раз перед ним предстала гид обиженной группы.

— Здрасьте,— почему-то обрадовался ей Слава,— а вас почему-то больше не видно?

— А я теперь учусь. Я же только на каникулах работала. Мне моя группа из Кургана написала, что вы фотографии не послали, просили узнать. Вот я и приехала…

— Мне, к сожалению, нечего послать. Пленка плохая получилась. Давайте, я вам деньги отдам, а вы передадите.

— Что я с ними делать буду? — отмахнулась девушка.— Если хотите, пошлите на адрес «Спутника»…

Они помолчали.

— Ну ладно,— неуверенно сказала она,— мне пора.

— Вы, наверное, с экскурсией приехали на автобусе?

— Да.

— Так куда ж вы пойдете? Экскурсия-то не закончилась. Ну хорошо, я вас провожу.

Они вышли на улицу. Прямо перед ними голубели Карпаты, взлетая крутыми вершинами к небу, и тут же спадая от него тяжелыми нечеткими складками.

— Я хочу еще раз в Карпаты сходить,— сказала девушка.

— Как вас зовут? — спросил Слава.

— Алена, — ответила она и продолжала: — я так скучаю по Карпатам. Может, пройдемся до скал Довбуша?

Поднимаясь на крутой склон, он взял Алену за ладошку и, чувствуя небольшую тяжесть невольно сопротивлявшегося тела, тянул ее наверх, на этот раз, к собственному удивлению, не испытывая усталости.

Они проделали обычный экскурсионный маршрут, но Славе все казалось другим: и дорога, усыпанная мелкими камешками, была не такой извилистой и ухабистой, и деревья расступались с загадочным шепотом.

— Какое странное ощущение,— сказала Алена,— словно все изменилось. Правильно говорят — лес много народа не любит. Лес любит одиноких.

Дорога прервалась строгим, потемневшим от времени квадратом колодца. Слава отлично помнил этот поворот, но сейчас он возник перед ним совершенно неожиданно. Слава поднял ведро и сбросил вниз — оно прогрохотало с мерным ускорением и блеснуло рыбной чешуйкой в воде. Слава потянул его обратно:

— Алена, будете пить?

— Чтоб на тридцать лет помолодеть? — улыбнулась она.

Он смутился: конечно, Алена, как гид, должна была хорошо знать эту излюбленную присказку экскурсоводов.

— Вам незачем, а мне на десяток лет не помешает. Он прикоснулся горячими губами к ведру, обжегся его холодом, пил и пил, отчего-то боясь оторваться от воды.

— Теперь будете жить долго-долго,— сказала Алена. Они пошли дальше, не говоря больше ни слова, и остановились только у скалы с деревом-змеей.

— Говорят, здесь много людей разбивается. Надо же, смельчаки какие, на скалу лезть, зацепиться-то не за что,— протянула Алена.

Слава взглянул наверх — громадина скалы тянулась к небу. Он прикоснулся ладонью к шершавому теплому камню, и ощущение покоя почти пронзило его. И опять время засигналило вокруг едва заметными огоньками, лишь скала стояла,

вечная, не поддающаяся ничьему влиянию, словно вобрав в себя постоянство.

«Предугадать, непременно, белокаменный, неприкосновенный»,— забубнил опять его внутренний голос, но, окрепнув, вдруг превратился в эхо. Слава встал на едва заметный выступ, потом еще на один — земля была где-то рядом, он почти не оторвался от нее.

— Слава, куда вы?

Звук голоса только подстегнул его, он забирался все выше и выше, и когда оглянулся — его закружило от предчувствия полета. Фигура Алены стала совсем маленькой. Слава попытался отыскать «змею», но ему это никак не удавалось, и только потом он понял, что она исчезла, превратилась в обыкновенное дерево, голое и жалкое. Он занес ногу еще выше, целенаправленно отыскивая подобие новой ступеньки.

Он вспомнил глубокий колодец, его завораживающую вязкую глубину — сейчас он был в ней — и вот он уже поднимается к небу — туда, скорей, где солнце, верхушки деревьев, дорога. Оттолкнуться от скалы было совсем не трудно — она не мешала полету. Голубое небо, голубая земля слились, вытесняя пространство между собой, словно ладони в безумном хлопке.

В этот миг он почувствовал счастье.

К дочери

Автовокзал в представлении Прасковьи всегда был набит разного рода личностями, теперь же, к ее большому удивлению, она нашла тут полупустой зал ожидания, продавщицу с мороженым, скучающую за стойкой, длинный ряд свободных окошечек с аккуратными одинаковыми надписями: «Участники Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди». Прасковья пожала плечами и вышла из прохладного зала на улицу, где шумели автобусы. Впрочем, откуда взяться народу, если день будний? — это раньше Прасковья ездила с Федором в город по воскресеньям. Да разве сорвалась бы она с места посреди недели, если бы не письмо Людки — странное это было письмо: с незнакомым обратным адресом (в другое общежитие, что ли, переехала?). Дочь писала, что болеет, что нужны деньги и что вообще у ней все не ладится. Прасковья даже не дождалась выходных — сердце болело — побежала договорилась с председателем колхоза, что уедет на два дня, собрала дочке трав от простуды — и в город.

В стеклянную дверь автовокзала Прасковья посмотрела напоследок, чтобы поправить платок, потом подхватила сумку и направилась к трамвайной остановке. Прасковья не знала, куда нужно ехать,— адрес-то новый — заскочила в первый же попавшийся трамвай и сразу же вгляделась сквозь прозрачную перегородку в водителя: а вдруг Людка? За рулем сидела молодая девушка. Прасковья разочарованно отвернулась и спросила у какой-то женщины:

— Дамочка, не подскажете, где мне сойти, чтоб на проспект попасть?

— На какой проспект?

— На Свердловский, вроде.

— Так вы не на тот трамвай сели,— начала объяснять женщина.

— Абонементики приготовили для проверки, — раздался громкий голос контролера.

Прасковья всполошилась.

— Где же касса-то? Абонементик продайте,— попросила она у той же женщины.

Та развела руками:

— Нет у меня. Проездной.

Контролер была уже около них.

— Да я только что зашла,— сказала Прасковья, — не на тот трамвай села, щас найду абонемент.

Контролер безразлично взглянула на нее и произнесла бесцветным голосом:

— Штраф платите, три рубля.

— Какие-такие три рубля? — удивилась Прасковья, — не на тот трамвай я села.

— Нас не касается,— ответила контролер, проводя языком за щекой, — плати штраф, не то в милицию поведу.

— Деревенская я, — обратилась Прасковья за поддержкой к пассажирам,— не на тот трамвай села, а теперь — три рубля ей выложи.

Пассажиры заоборачивались:

— Да отпустите вы ее, она только что зашла.

— Нас не касается,— повторила контролер.

Прасковье все же пришлось вытащить кошелек, вместо рваной трешки она аккуратно положила туда квитанцию. Обидно было, что произошло с ней такое злоключение — но что поделаешь? Многолюдный, чужой город симпатий у ней и раньше не вызывал. «Да и без Федора зачем сюда сунулась», — ругала она себя.

Наконец нужный дом был найден.

Дверь открыл лохматый, заспанный парень, он не удивился Прасковье, которая еще раз посмотрела на конверт.

— Люда? — переспросил он.— Скоро придет. Парень провел ее на кухню, где на столе стояла трехлитровая банка с пивом. Прасковья постеснялась что-либо спрашивать, молча сидела на табуретке, смотрела в окно. Долго сидеть на одном месте было непривычно — жизнь в деревне приучила к постоянным хлопотам,— поэтому час вынужденного ожидания показался ей вечностью.

Многие ребята из их колхоза стремились в город. Прасковья вроде и привыкла к этим разговорам, но они велись так, между прочим. И Людка, кажется, ничем не отличалась от своих ровесников, но в десятом классе — вдруг резко переменилась: все ее мысли были об одном — в город. В деревне она себя чувствовала так, будто отбывала тягостную повинность. Прасковья заметила, как на производственной практике дочь обращается с коровами: брезгливо, резко выдергивая неполные ведра с молоком. Едва получив аттестат, тут же засобиралась в город. Прасковья с Федором проводили ее даже с некоторым облегчением: хоть и родная кровинка, однако сил уже не было смотреть на ее ленивую развинченную походку, на скучающее лицо, на молчаливое осуждение деревенской жизни. Их добротное хозяйство, которым они с Федором так гордились (а ты пойди, поработай, как мы), у Людки вызывало недобрую усмешку.

— Молочко-то пьешь и за стол сесть не брезгуешь, — выговаривала ей Прасковья.

— Горбатьтесь, горбатьтесь! — усмехалась дочь так, что Прасковье хотелось полоснуть ее по ехидному лицу тряпкой, которой вытирала со стола.

Она извелась вся, глядя на Людку. «И за что она нас так?» — сетовала горько, отводя душу с соседками. То, чем гордилась Прасковья, дочь низводила в порок. Младшие дети Прасковьи — Ленка и Санька — молча следили за этими баталиями, в споры не ввязывались, и за мать, вроде, обижались, и с сеструхой особенно не спорили. Они не принимали ничьей стороны. Хотя оба и собирались остаться в колхозе, жизнь им казалась полной надежд и неожиданностей — Санька учил-

ся в восьмом классе, Ленка — в шестом,— а мало ли как там обернется. К тому же уж очень им хотелось похвалиться по своей несмышлености: а у нас в городе сеструха живет. Да и надоело ютиться у случайных знакомых, когда выбирались в город. Проводили ее без слез, с каким-то даже любопытством: «Ну давай, сеструха, а мы поглядим».

От кого загорелась Людка этим желанием уехать? Считай, все ее подруги оставались дома, это уж потом многие разъехались. Прасковья думала, хоть Артемка ее удержит, да куда там! Когда она пошла в десятый класс, его взяли в армию — вот уж когда Людка наревелась. Его мать и то так не плакала. «Ты что,— говорила она Людке,— в армию парня провожаешь или по покойнику причитаешь?» Людка согласно кивала головой, утирала слезы с красного распухшего лица, на минуту умолкала, а потом — опять в рев. Артемка словно и не расстраивался, его почему-то еще не обрили, как других парней, и он сидел молча на одном месте, моргал большими воловьими глазами, словно все эти хлопоты его нисколько не касаются.

Тогда Прасковье казалось, что и не любил он особенно Людку, да и никого из девчонок не баловал своим вниманием. «Просто, может, пришло время невесту заводить»,— думала Прасковья. Встречаться с Людкой он стал месяца за два до проводов, но тут уж показал себя дисциплинированным кавалером: приходил каждый день и гулял с ней до позднего вечера. Людка тогда и нарядами-то особенно не интересовалась, а тут как с ума сошла: это давай, то давай. Привезут в магазин импортные кофточки — первая бежит. Прасковья, что могла, то покупала ей, не корила, как другие матери, думала: девку одеть надо, невеста почти, ясное дело, хочет перед своим нарядной покрасоваться, сегодня он бегает к ней, завтра — кто его знает? — каждому невесту не хуже других иметь хочется, но даже если он и не обращал на это внимания — все равно, как перед парнем-то простушкой показаться?

Но Людка, видимо, во вкус вошла: Артемка уж первый год дослуживал, а она все по магазинам. Бабы на нее коситься ста-

ли: куда девку так одевают? Всю моду по ней измеряли, когда кому на свадьбу ли, на праздник какой платье надо сшить было, сразу к ней, а она разложит ворох журналов — и ну — говорит, только запоминай. Вот когда с ее лица скука сходила! И в город-то — не «деревней» уехала.

А в Артемку она была влюблена с пятого класса. Был он вроде и мальчик неприметный, тихий — девчонки в этом возрасте побойчей кого любят. У Людки до сих пор в столе лежит его старая фотография, добытая с боем у кого-то из одноклассниц. Фотография была коллективная, и она вырезала только Артемку. Маленький мальчонка, ничего особенного… И вот сейчас — парень хоть куда. А Людку вроде не забыл, частенько про нее спрашивает. Уж так жалко Прасковье, что такого парня Людка упустила. Спрашивала она у матери его, может, ей про них больше известно? — и та сказала, что Артемка ездил за Людой в город, но та обратно — ни в какую, его к себе звала, а он в город не едет. Три года уж прошло, как из армии вернулся…

Рано радовалась Прасковья, что у дочери «все, как у людей» — и в школе хорошо училась, и по хозяйству быстрая была, и парня в армию проводила — и вот, все насмарку! Рано, выходит, радовалась. Сидит теперь в этой незнакомой кухне с давно немытыми стеклами, с раскачивающимся столом, на котором пенится теплая вонючая жидкость.

Хлопнула дверь. Прасковья завертела головой: и то, Людка, да не узнать: в блестящем (ну что алюминиевая фольга) плаще, в легких туфельках на высоких каблуках, а на лицо поглядеть — вся изможденная. «Точно, болеет»,— пожалела Прасковья.

Людка замерла на пороге, увидев мать, смутилась и зашла, не раздеваясь, на кухню. В руках она вертела зимнюю шапку, на которой болталась этикетка.

— Уж и завернуть-то не могла,— вместо приветствия Прасковья кивнула на шапку.

— Мама, зачем ты здесь? — спросила Людка, то ли смущаясь, то ли сердясь.

— Что-то рановато ты к зиме готовишься, — сказала Прасковья, опять кивая на шапку.

Людка промолчала, но машинально тоже взглянула на шапку.

— Кролик, правда, хороший, гладенький, — продолжала оценивать Прасковья.

— Это не кролик, мама, а норка, — устало поправила Людка.

Прасковья поймала медленно раскачивающуюся этикетку, нашла цену и сумела только ойкнуть.

— Мама, зачем ты приехала? — повторила Людка.

— Попроведать, а чего ж, ты вон какое письмо написала: и что болеешь, и плохо тебе. — Прасковья обиженно подобрала губы, потом не удержалась и кивнула в сторону парня:

— Он тебе муж или как?

Людка проследила за ее жестом и ответила с неудовольствием:

— Мама, ну зачем ты об этом, ты ничего не понимаешь, здесь все сложно.

— Чтоб о сложностях-то думать, надо расписаться вначале.

— А-а,— махнула рукой она,— что ты понимаешь в этом?

— Смотри, нам с отцом в подоле не принеси.

Людкино лицо сразу сморщилось то ли в недовольной гримасе, то ли в усмешке:

— Не бойся, не принесу.

Прасковья настороженно вгляделась в нее:

— Ой, девка, смотри, не сотвори с собой что. Или уже? — она в ужасе прикрыла ладошкой рот.

— Сама говоришь: в подоле не принеси,— раздраженно ответила Людка.

Шапку она все еще держала в руках.

— Ехала бы ты домой, Людка.

— А что я там не видела,— огрызнулась она,— как ты, на ферму в пять часов маршировать? Под коровами лазать? Я потому из трампарка ушла, чтоб рано не вставать, а там куда лучше, чем с коровами.

— Ушла? — удивилась Прасковья. — А в люди-то думаешь выходить али нет?

— А я что — корова, что ли, нелюдь?

— Она, корова, поди, поумней тебя будет. Шла бы за Артемку, простит, может…

— А что мне в ноги кидаться, что я виновата перед ним?

— А то нет, бежала от него. Что в армию-то писала?

— Подумаешь, писала. Ему же лучше, все веселей было.

— Веселей веселого. Шла бы ты, Людка, за него, а этот, — она снова кивнула на парня, — бросит тебя. Нужна ты ему, деревенская…

Людка опустила голову, сказала тихо, но твердо:

— Все, мама, не деревенская я теперь.

В дверь постучали. На пороге стоял тот лохматый, а из-за него выглядывал еще какой-то парень и девчонка с синими разводами век.

— Щеглиха, ты скоро? Мы будем пить пиво в конце концов?

— Подождите,— Людка с треском закрыла дверь, села.

— Да ты теперь не Люда Щеглова, а Щеглиха,— покачала головой Прасковья.— А работаешь-то где теперь?

— Нигде пока,— Люда спрятала взгляд.— Мама, ты денег привезла?

Прасковья подняла сумку.

— На вот, травы тебе привезла, я-то думала, правда, ты простыла.

Людка молча отодвинула травы.

Прасковья достала непривычный для нее кошелек, неловко открыла его, вытащила квитанцию о штрафе, вздохнула, потом вытащила несколько десяток:

— На, что ли, больше нет.

Людка недовольно вздохнула, но десятки взяла.

— Пойдем, мама, я тебя провожу.

— Ты что меня выгоняешь, что ли? — обиделась она.

— На автобус опоздаешь.

Прасковья хотела сказать, что никуда она не опоздает — отпросилась у председателя на два дня, но почему-то промолчала, встала:

— Где тут у вас магазины? У Саньки день рождения, подарок купить надо.

— Какие магазины? — сморщилась Людка. — Что ты там купишь? Эй вы, пошла я, — крикнула она своим приятелям.

— Щеглиха, мы тебя ждать не будем. Пиво-то выпьем.

— Не захлебнитесь.

…Они долго шли по каким-то дворам, потом Людка юркнула в большой подъезд, у которого толпились подвыпившие грузчики, выбежала со свертком в руках:

— На, подари Саньке.

— Что это? — заинтересовалась Прасковья,— башмаки какие-то, да цветные.

— Кроссовки это, мама, у нас тут за ними убийство. Саньке понравятся.

Прасковья засунула кроссовки в сумку, и они пошли к трамваю.

Людка сразу же направилась к водителю, стояла в открытой двери, смеялась. Невыключенный микрофон разносил по салону смех и обрывки фраз.

Прасковья постучала по Людкиной спине:

— Купи абонементов, Люда. Как бы не штрафанули нас.

Она не оборачивалась.

Прасковья постучала посильнее:

— Людка, оштрафуют.

— Не бойся!

Она смеялась, весело болтала с водителем, а оглянулась — в глазах опять ни искринки, как будто пеленой горечи затянуты — не то посветлели, не то потемнели от этого, уголки губ безвольно провисли — изможденная, усталая, разочарованная. «А со спины глянуть,— с неудовольствием подумала Прасковья,— форму держит. И задницей-то вильнуть может и голову откидывать научилась». Да все это не та привычная

походка с тяжеловатостью натруженной ступни — в этой какая-то напряженность и неестественность.

Ждать автобус они уселись на скамейку у автовокзала: втиснулись между сидящими там людьми. Людка безразлично пошуровала у себя в кармане «космического плаща» и вытащила горсть грязных запыленных семечек.

— А то давай, Людка, со мной,— предложила Прасковья,— все отдохнешь, пока не работаешь.

Говорила жизнерадостным тоном, сама остро чувствуя его ненужность, а думала с непривычной хитрецой: «А вдруг у нас совсем останется». Людка вспыхнула вся, всколыхнулась.

— Давай, Людка,— повторила Прасковья, но уже на более высокой ноте.

Людкино лицо сразу как-то осунулось.

— Нет, — она помотала головой,— не могу я, — потом еще раз помотала. — Не могу.

Она сникла, болезненно обмякли, опустились плечи.

Прасковья вздохнула: жалко девчонку. И тут же подумала: а вот за что жалко? Она, Прасковья, сызмальства знала, что такое горе. Когда корова — единственная их кормилица — пала в войну от какой-то болезни — и лечить-то некому было: на их ветеринара уже и похоронку принесли — вот это горе было. Когда после войны случилась засуха, такая, что поле походило на сжавшийся грязный комок земли, и есть было нечего — горе. Когда отец, навсегда потерявший здоровье в окопах, из последних сил ведущий трактор, умер прямо за рулем…

А Людка-то? Сама все наперекосяк пустила, сама и виновата. Нет, чтобы домой вернуться,— земля простит, родной дом все грехи отпустит — нет, она продолжает маяться в чужом городе. Да разве не блажь это, не баловство одно?

Подошел автобус. Прасковья выглянула в окно: Людка не уходила, смотрела не отрываясь в пыльные стекла, как будто ждала еще чего-то. Потом помахала рукой, не дождавшись отправки, ушла, серебрясь в своем длинном плаще уже в конце улицы.

«Чего приехала-то? — ругала себя Прасковья.— Людку не увезла и подарок Саньке порядочный не купила».

— Парнишка,— она легонько толкнула локтем соседа,— глянь-ка на башмаки.

Парень, взглянув на вытащенные кроссовки, заинтересовался:

— Где, мать, купила?

— Ну как, ничё, что ли? — допытывалась Прасковья.

— Отличные.

— Ох ты,— нахмурилась она,— а размер не тот, надо 40, а она 39 сунула.

— Продай, мать, — оживился парень, — мне как раз.

— Не,— покачала головой Прасковья и снова затолкала их в сумку. Потом с теплотой, неожиданно разошедшейся по телу, подумала о ферме — как там без нее «буренки», потом подумала о доме — как сейчас обрадуются ребятишки, хоть и ждут ее завтра, и Федор, наверняка, уже топчется на остановке: а вдруг приедет?

Прасковья еще раз выглянула в окно, где по пыльной дороге громыхали тяжеловесные трамваи, замирая у вспыхивающих светофоров. Надвигался вечер, плотно сливающийся с пылью городских перекрестков.

Кончался день…

Пластинки

Проигрыватель Вадиму подарили на свадьбу.

Очнувшись от сна на следующий день после свадьбы, он нашел свою молодую супругу Зину прочно восседающей за письменным столом в ночной рубашке. Она перебирала конверты с деньгами, которые накануне были подарены гостями.

Зина мельком взглянула на проснувшегося Вадима, не прерывая своего увлекательного занятия:

— Люська всего десятку положила. С-стерва… Садись, помогай мне считать.

Вадим бросил угрюмый взгляд на нее, на торопливо разорванные конверты с неровными краями и подошел к груде подарков, лежащих на подоконнике. Среди пачек с постельным бельем, среди пакетов в хрустящей оберточной бумаге он и увидел проигрыватель. Вадим лениво вытащил его, потрогал пальцем гладкие полированные бока:

— Ничё, стерео.

Открыл крышку, пощелкал выключателем. Зина нехотя оторвалась от конвертов и, чувствуя себя уже полновластной хозяйкой в доме, сказала с раздражением:

— Я что тебе говорю! Помогать мне. А ты чем занимаешься?!

Она, кажется, вовсе не собиралась следовать соображениям дяди Вадима, Егора Тимофеевича, который раньше регулярно наставлял племянника, вслед за причитаниями матери Вадима, что не может женить сына:

— На Зинке женись, не ошибешься. Она — девка хозяйственная, а тебе по гроб жизни благодарна будет, что в жены

взял, как-никак двадцать девять ей стукнуло, поди, и надежду-то потеряла замуж выйти.

Вадим сидел рядом с Егором Тимофеевичем, завороженно смотрел, как постепенно багровеет его лицо от выпитой водки, как тяжелеет и все ниже опускается голова, как становится поучительней голос. На его слова он неопределенно хмыкал, вертел головой, но на Зину начал поглядывать — жениться хотелось, у всех его друзей давно уже росли дети, Вадим играл с ними в «ладушки», показывал «козу», добросовестно растопырив два пальца, и смотрел задумчиво, как они тянут своих пап за пиджаки. Недалеко от поселка, в котором жил Вадим, находился дом отдыха, там и работала Зина официанткой. Он заставал ее обычно быстро везущей коляску с позвякивающими друг о друга блюдцами, она переругивалась с отдыхающими, которым было «все не так». Облокотившись на подоконник в столовой, около желтеющего фикуса, Вадим бездумно глядел на нее, маленькую, верткую, пока она не замечала его и не усаживала за стол.

— Да не хочу я есть, Зин,— каждый раз отказывался : он, но та деловито отвечала:

— Хочешь, не хочешь, а надо. Не деньги, поди, платишь, казенное. Знай, ешь.

Он послушно садился и нехотя жевал то, что она ставила перед ним, а Зина, подперев руками подбородок, предупредительно смотрела на него влажными небольшими глазками.

Вадим не знал, нравится она ему или нет, он принадлежал к тем людям, которые бесстрастно смотрят на мир, пока им не укажут, как нужно относиться к тому или иному явлению. Если бы Егору Тимофеевичу не вздумалось обратить его внимание на Зину, то он так бы всегда и проходил мимо нее, едва выговорив «Здравствуй». Вадиму не приходило в голову подумать о том, красивая она или нет, он принимал ее такой, какая она есть.

По праздникам, когда обычно пустующая местная парикмахерская плотно набивалась народом, Зина терпеливо высиживала очередь, правда, больше по традиции, чем из желания

угодить мужу. Сидя в кресле, она каждый раз внимательно выслушивала парикмахера, неизменно одетого в полосатую рубашку и широкие брюки на подтяжках:

— Нет у вас, деревенского жителя, стремления к красоте. Только праздник вас и может растормошить. Да разве можно так волос запускать? Ай-яй-яй! Какую вам прическу? Не знаете. А кто знает? Вы правы, нам виднее. Да вот только не обходили бы вы наш домик стороной, вон как волосы-то лезут. А муж-то твой как сейчас обрадуется, жена, скажет, у меня какая красивая!

Но в этом парикмахер как раз и ошибался. То состояние, в котором находился супруг Зины, вряд ли можно было назвать радостью, он каждый раз озадаченно глядел на новое сооружение на голове Зины, и ей так никогда и не пришлось услышать ожидаемой похвалы.

Зину никак нельзя было назвать некрасивой: черты ее лица, мелкие, правильные, отличались, пожалуй, заурядностью.

До свадьбы Вадим обычно виделся с ней в столовой дома отдыха, к себе домой не приглашал, а когда Зина звала его в гости, он неизменно соглашался.

Иногда вечерами они ходили в кино.

Когда Вадим сделал вывод, что привык к Зине, он решился и сделал ей предложение, на которое она ответила с готовностью:

— А чё, давай.

Дни проходили, а с благодарностью, обещанной Егором Тимофеевичем, Зина особенно не спешила, покрикивала она на мужа явно с большим удовольствием. Когда растерянный Вадим намекнул об этом Егору Тимофеевичу, тот с такой же обстоятельностью, что и раньше, объяснил:

— Видать, уже испортился у нее характер, не исправить.

Но вскоре Вадим втянулся в свою новую жизнь, которая, кажется, мало чем отличалась от прежней. Он даже не мог представить, что вместо Зины у него могла бы быть другая жена, ему казалось, что живут они долго, бесконечно долго, хотя прошло всего два года. И от этого ощущения в нем все

больше притуплялись все желания и по ночам он все чаще поворачивался спиной к Зине, сердито покашливающей сзади.

Детей у них не было. После свадьбы Вадим жил в нетерпеливом ожидании, но месяц проходил за месяцем, а все оставалось по-прежнему. Знакомые ребята посмеивались: «Что, Вадимка, плохо стараешься?» Зина тоже отпускала отнюдь не лестные для него замечания. Вадим огорчался вначале, затем, приняв это как неизбежность, успокоился. Шуток становилось все меньше: друзьям надоело повторяться. Зина, сходив к врачу, стала помалкивать об этом.

И тогда Вадим вспомнил о проигрывателе. Вернувшись из гаража, он работал механиком, Вадим тщательно мыл руки, бережно открывал проигрыватель и ставил по очереди те одиннадцать пластинок, которые купил в городе после свадьбы.

Зина по вечерам его никуда не отпускала. Вначале ее радовало, что мужа так легко удалось заставить сидеть дома.

Пластинки крутились, Вадим слушал, Зина сердилась. Сощурив глаза, она наблюдала, как аккуратно протирает он пластинки, и все ее маленькое существо наполнялось гневом. Мало того, когда она разрешила Вадиму уходить из дому по вечерам, он не выразил никакого энтузиазма. Пластинки вытеснили все его старые немудреные развлечения. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы в один прекрасный момент проигрыватель не сломался. В упорядоченной жизни Вадима это было целое событие: он нервничал, ссорился с Зиной, что было раньше крайне редко, громко говорил что-то, включал и выключал радио — но музыка, которая там звучала, казалась ему гораздо худшей, и вообще, даже не музыкой, а набором каких-то необычных, а значит, и неприятных звуков. Если звучали те песни, которые были у него на пластинках, они еще больше подавляли его, так как передавались в необычном сочетании с другими песнями (порядок же прослушивания пластинок у него был давно установлен). Вадим долго копался в проигрывателе, но так и не смог его исправить, возил его

даже в городскую мастерскую, где сказали, что нет нужных деталей… И вот однажды к Вадиму подошел Паша, массовик-затейник из дома отдыха:

— Вадик, хорошо, что я тебя встретил. Я ключ потерял от комнаты с инвентарем. Завтра мне новый сделают. А сегодня, понимаешь, вечер отдыха, а пластинки в той комнате остались. Ты не мог бы мне свои дать, а?

Он вначале испугался этой просьбы:

— Что ты, Паша, у вас иголка-то, наверно, старая, плохая, еще испортит мои вещи, да и разбить могут… — Вадим задумался, вздохнул глубоко и решился. — Ладно, я сам приду и принесу пластинки.

Пришел Вадим задолго до начала вечера, зал еще был закрыт, и он, прислонившись носом к стеклянной двери, смотрел вовнутрь хозяйским глазом, словно размышлял, как будут здесь звучать его любимые песни. Подошел Паша, спросил:

— Ну как, принес?

Вадима немного задел беззаботный тон Паши, но тем не менее он степенно кивнул в ответ, давая понять Паше, что тот должен переменить интонацию. На Пашу, однако, это не произвело ровно никакого впечатления, он все так же жизнерадостно улыбался, затем открыл зал. Вадим сразу же сел в угол около проигрывателя, достал из сумки аккуратно завернутые пластинки и положил на колени. Зал помаленьку наполнялся отдыхающими, но Паша не спешил с танцами, отчаянно жестикулируя, он начал игры. Вадим нетерпеливо ерзал на стуле, перекладывал пластинки то туда, то сюда, а Паша раздавал призы и объявлял все новые и новые игры. Вадим глядел на веселых отдыхающих и удивлялся, почему им так весело: подумаешь, какие-то дурацкие игры…

Но наконец Паша объявил танцы. Вадим сразу выпрямился и, словно совершая священный обряд, развернул пластинки. Давно уже Вадим не был в клубе: друзья вскоре после армии переженились, а одному ходить не хотелось. Впрочем, казалось, что эти десять лет отдыхающие так и не уезжали

отсюда, те же самые лица со скукой и весельем одновременно, какие бывают обычно в вынужденной праздности, тот же разнобой в одежде: или небрежность, или тщательность, что не часто встретишь в городе в одном определенном месте, та же уютность ленивых замедленных движений.

Около Вадима остановилась пара: она — в малиновом бархатном костюме, он — в спортивных штанах, вытянутых на коленях, и застиранной футболке.

— Что за пластинки тут, им в субботу сто лет, — сказал парень, лениво растягивая слова.

Вадим насторожился, ему и в голову не могло прийти, что кому-то его пластинки могут не понравиться. Он напряженно вглядывался в спину говорящего, когда же внимательно изучил высокую широкоплечую фигуру, то перекинул взгляд на его даму. У ней были правильные изящные черты лица, длинные темно-каштановые волосы распущены, и это скрадывало определенность возраста.

Парень стоял спиной, и поэтому Вадим не мог видеть его лица, но когда он повернулся, то совсем неожиданно оказался синеглазым и юным — лет на шесть-семь младше своей партнерши. Выражение его лица — удивительная смесь самоуверенности и какой-то детской незащищенности — на какой-то миг так поразило Вадима, что он даже забыл о причине, по которой обратил внимание на эту пару. Но потом вновь на него нахлынула обида, и он, нахохлившись на своем стульчике около проигрывателя, враждебно и хмуро смотрел на них.

И все-таки он наслаждался! Пожалуй, только это « слово, в которое остальные люди вкладывают столько смысловых оттенков, могло бы отразить состояние Вадима. Если и говорить о наслаждении, можно было бы полностью поручиться, что Вадим, никогда не знавший этого чувства, испытывал его, когда слушал свои пластинки. И особенно сейчас, после долгого перерыва, это чувство было острым и отчетливым.

Обычно придающий значение самым ничтожным репликам в свой адрес, долго помнивший все обиды, вплоть до мелочей, на этот раз Вадим неожиданно подобрел и уже

больше по привычке, чем из злобы, следил за долговязым мальчиком.

На следующий день Паша снова подошел к Вадиму:

— Вадька, друг, выручай, слесарь не пришел, принеси и сегодня пластинки.

Вадим воспринял Пашину просьбу так, будто иначе и быть не могло:

— Ну ладно.

Он, конечно, понимал, что не острая необходимость заставляет Пашу обращаться к нему, замок был, в конце концов, не от сейфа. Паша при всем своем кажущемся избытке энергии не любил лишних хлопот.

Но Вадим теперь уже и сам хотел пойти на танцы — слушать свои пластинки, пусть не дома в одиночестве, с этим приходилось мириться. И, кроме того, у него появилось какое-то непонятное болезненное любопытство ко вчерашней паре.

Вадим сидел около своих пластинок, когда они вошли в зал. Но тут же потерял их из виду, так как рядом с ним присел сухонький старикашка, настолько сухонький, что было удивительно, как он забрел на танцы, присел он с явным желанием завести разговор.

— Танцует молодежь, — сказал старичок, покашливая в маленький кулачок.

Вадим пробормотал в ответ что-то неопределенное.

— А вы вот, как я погляжу меломан, — старичок с симпатией поглядел на него.

Меломан? Вадим вскинул на него глаза. Господи, да что же это такое? Наверное, что-нибудь оскорбительное. Даже наверняка. Просто невозможно на минутку присесть, чтобы тебя не оскорбили.

— А вам-то что? — вспылил Вадим.

Старичок, не ожидавший такой бурной реакции, пожал плечами и мелко засеменил в другой угол.

— А сейчас белый танец, по заявкам,— объявил в это время Паша, как всегда, широко улыбаясь.

Вадим, несколько раздраженный, машинально нашел взглядом девушку в бархатном костюме. Парень стоял около нее, небрежно покачиваясь на каблуках, — высокий, самоуверенный. Она улыбалась ему. Вадим взял пластинку, зачем-то помедлил, вздохнул и поставил на диск.

— Шр-р, — закрутилась пластинка. Зазвучала музыка. Неожиданно девушка обернулась, ее широко раскрытые глаза смотрели прямо на Вадима. Он вздрогнул от неожиданности и даже сжался от ее долгого взгляда, стараясь сделаться как можно незаметней. Она стала пробираться среди стоящих людей к нему.

— Можно Вас пригласить?

Вадиму хотелось, чтобы ее вернул тот длинный мальчик, увел. Но мальчик не приходил, она улыбалась и ждала. Если минуту назад Вадим называл ее улыбку кокетливой, то теперь готов был назвать милой и обаятельной. Вадим медленно и неловко встал, думая, как стремительно приближается ее лицо откуда-то сверху.

Он уже давно не танцевал и поэтому мучительно долго вспоминал, куда положить руки. Из памяти всплыли эпизоды прошлых танцев, и Вадим, скорее машинально, чем обдуманно, начал двигаться. Он был почти зол на эту девушку за то, что она вывела его из оцепенения, что надо лихорадочно соображать, о чем говорить. Он видел, с какой легкостью разговаривают рядом танцующие, и ему было досадно, что каждое слово, каждый жест сейчас даются ему с трудом. Но к досаде примешивалось еще какое-то чувство: то ли непонятная радость, то ли гордость, что она его пригласила.

— Меня зовут Анна,— сказала она.

Вадим открыл рот, чтобы ответить, но Анна его опередила:

— Знаю, знаю, тебя — Вадик.

— Да,— промямлил он, смущаясь от неожиданных «ты» и «Вадик».

Он напрягся, думая, о чем спросить Анну.

— А вы давно здесь отдыхаете? — на «ты» он не решился.

— Достаточно, чтобы все опротивело, скукота. Вадик, а почему ты пластинки крутишь? Это что твоя общественная работа?

— Нет, — протянул он, — Пашка просит, чтобы я… — Вадим не договорил, ему вдруг в первый раз стало стыдно признаться, что пластинки его.

Анна как будто даже не заметила, что он запнулся.

— Слушай, Вадик, а поновей пластинок нет?

Вадим, как завороженный, смотрел в ее глаза, немигающие, холодно-серые, и молчал. Но ее отнюдь не обескуражило это молчание, она продолжала так же непринужденно:

— Съездил бы ты в город за пластинками новыми. Хотя бы «Европу» в киоске грамзаписи купил, ну или еще что-нибудь.

Он продолжал танцевать, не замечая, что музыка закончилась. Анна остановилась и легко выдернула руку из его ладони. Вадим двинулся было за ней, но его оттеснили, и длинные волосы Анны мелькнули уже в другом конце зала.

Вадим огляделся, только сейчас начиная воспринимать окружающее. Он заметил, что около проигрывателя стоит стайка молоденьких ребят и оживленно перебирают пластинки. Вадим с ужасом смотрел, как они берут пластинки не за края, а всей пятерней, так что следы пальцев четко отпечатывались на черной блестящей поверхности. Но ужас Вадима тут же сменился равнодушием. Он, даже не подходя к проигрывателю, вышел в фойе, выпил воды из умывальника, набирая ее прямо в ладони. «Европа, Европа»,— стучало у него в висках. Из зеркала на него глядело худое, усатое лицо с топорщащимися черными усами. Карие глаза были недоверчивы и настороженны.

— Ну что, Вадька, — спросил он свое отражение в зеркале. — Едем в город?

Спросил и сам удивился своим словам. Он старательно подыскивал оправдание тому, что вот так неожиданно собрался в город, не обременяя себя мыслями о том, что ска-

жет на работе, что скажет жене. Непонятная сила заставила Вадима если не подавить сомнения, то, по крайней мере, не думать о них сейчас. Перед ним стояла четкая цель: привезти «Европу», все остальное было слишком туманным…

По дороге домой он зашел к своему приятелю, Звонкову, с которым вместе работал в гараже. Звонков был весьма озадачен. Вадим давно уже не заходил к нему по вечерам.

— Что-то случилось? — испугался он.

— Да нет, — Вадим потоптался, — завтра мне в город надо, скажи шефу, что я отгул беру.

— Зачем тебе в город? — круглые глаза Звонкова приобрели еще более правильную геометрическую форму, они так и светились непониманием. Обычно Вадим долго собирался, прежде чем уехать, долго размышлял, когда это лучше сделать, а тут — ни с того, ни с сего.

Но Вадим ничего не собирался ему объяснять.

— Надо, — кратко сказал он,— ну пока, я тороплюсь,— и его каблуки застучали по лестнице.

Супруге своей Вадим ничего не стал говорить об отгуле, избегая расспросов, которые обещали быть более продолжительными, чем у Звонкова. Выйдя из дома утром, он, как смышленый школьник, собравшийся улизнуть с уроков, направился вначале в ту сторону, что выглянувший из окна наблюдатель не мог бы ничего заподозрить, и только за углом свернул к автобусной остановке.

Вечером Вадим снова появился в клубе. Приехал он поздно, с последним автобусом, так что танцы были уже в самом разгаре. Анна танцевала в середине зала, ее яркий костюм выделялся колоритным пятном в кругу танцующих. Вадим, не дожидаясь конца танца, стал пробираться к ней. Не отдышавшись, не поздоровавшись, он выдохнул:

— Анна, я привез «Европу!»

Анна посмотрела на него удивленно, потом улыбнулась, красная помада матово блеснула на растянувшихся губах:

— Молодец, Вадик! — И тряхнула тяжелыми волосами.

— Женечка, — обратилась Анна к голубоглазому мальчику, которого Вадим вначале почему-то не заметил, — он привез.

Женечка на этот раз был в узеньких джинсиках. Он медленно раскачивался в такт песне, джинсики туго обтянули его длинные ноги, и он улыбнулся, легко, открыто, затем поднял большой палец вверх:

— Молодец, старик!

…После танцев Вадим опять зашел к Звонкову.

— Ну ты даешь, — тараторил тот, — шеф был в ударе. «Как, — говорит, — ушел в отгул?!» Ну ты его удивил, удивил.

Вадим, не слушая его, смотрел в сторону.

— Знаешь, у меня еще один отгул есть. Завтра мне снова ехать надо. Скажи там… А-а, что хочешь, — он махнул рукой и повернулся.

Утром Вадим плотно запаковал проигрыватель и увез его вместе с пластинками в комиссионный магазин.

Снимается кино!

— Уходите быстрей, от вас тень в кадре! — кричит оператор и машет рукой.

Ритка щурится в сторону черного глаза кинокамеры и не спеша отходит в сторону: какая там тень, побегал бы он с хлопушкой туда-сюда — кадр сто девятый, дубль два, кадр сто тридцатый, дубль один, тем более, когда бродят они все здесь с утра, а операторская машина подъехала только что. Сколько может администратор их группы Миша ругаться с этими операторами, вечно их ждать приходится!

Ритка не любит съемок на людных местах — всегда собирается толпа ротозеев, ну как же: кино снимают! А место, более людное, чем площадь Свердлова, еще поискать надо. По дороге бесконечной пестрой лентой тянутся машины, гудят, хрипят, тормозят — их автобус с маленькой надписью на боку «Госкино» едва заметен на обочине — Ритка пробирается туда и устало плюхается на сиденье.

— Что, Ритуль, утомилась? — спрашивает осветитель Петр Сидорович, дожевывая бутерброд с остропахнущей колбасой.

— Не-е, — отрицательно качает головой Ритка, — мне взять кое-что надо, — и она лезет в сумку за маленькой серой книжечкой — сценарием внутреннего пользования.

Двери автобуса вдруг шумно открываются.

— Твою ж маму… — кричит снизу ассистент режиссера, — что за интим? Ритка, сейчас второй дубль будет, иди хлопай.

Ритка, подхватив сценарий, хочет изящно выскочить из двери, но нога ее вдруг предательски подворачивается, и она падает прямо в руки ассистенту.

— Бедолага,— усмехается тот,— все не слава богу. Ритка освобождается от объятий ассистента и строго спрашивает:

— Шорин не приехал?

— Смотри-к, Шориным заинтересовалась,— удивляется он, — твоя задача — хлопушка, а не кинозвезды. Давай, беги.

— Подумаешь, — говорит Ритка и, выскакивая к кинокамере, кричит:

— Кадр сто тридцатый, дубль два.

Потом она отходит в сторону и начинает изучать сценарий. Вот этот кусок со встречей с одноклассником еще не отснят, так что Шорин, наверное, приедет.

— Что читаем? — раздается за ее спиной голос. Ритка оглядывается, и губы ее сами собой растягиваются в улыбке: это Шорин.

— Здравствуйте, Сергей Викторович, вы как-то незаметно.

— Я сегодня пешком. Машину в ремонт сдал. Ну вот, теперь нам с тобой, родная, и посидеть негде.

Они стоят в закутке от съемки, но тут же вокруг них начинает собираться народ; шепчут восторженно: Сергей Шорин — а кто-то из наиболее предприимчивых пропихивает к нему тетрадку:

— Распишитесь, пожалуйста.

Шорин нервно чиркает две буквы и уходит прочь.

Ритка смотрит ему вслед и вздыхает: ну вот, на этой площади с ним и не поговоришь. Издали она видит, как Шорин бегает от режиссера к камере, что-то доказывает, пластика у него, конечно, отменная, профессиональная — иногда кажется, что смотришь старый немой фильм. Если б он родился на полвека раньше…

Когда они сидели, разговаривали в его машине, он сказал:

— Я против звукового кино, Риточка. Надо, чтобы зритель не отрывал глаз от экрана, понимаешь, а у меня жена сидит, телевизор смотрит, а сама вяжет — глаза вниз. А что, говорит, смотреть, и так все по разговору понятно. Надо стремиться к минимуму слов, чтоб кино не превращалось в иллюстрации к диалогу, игра должна быть, игра… Надо возвращаться к не-

мому кинематографу, только на более высоком уровне, как Михаил Ромм говорил.

— Ну Ромм не совсем так говорил, — Ритке нравится быть знающей, умной, слова у ней выкатываются ровненько и неспешно. — Немое — пройденный этап, и нужно искать другие средства для…

— Все-то ты знаешь, — смеется Шорин.

Они частенько треплются в его машине, большей частью о кино. Вообще-то на съемочной площадке вспоминать о кинематографе в широком смысле не принято, посторонние разговоры перед съемкой — как ритуал. Это уже потом, когда собираются вместе вечером, начинают говорить о Феллини, Бергмане, Пазолини…

…Ритка может смотреть на Шорина бесконечно долго, не боясь, что он станет растерянно оглядываться, ища, кто так настойчиво на него смотрит, — он привык ко взглядам, спокойно работает, не замечая их. Шорин — невысокого роста, гибкий, где-то даже женственный. Играет он обычно интеллигентных мужчин с мягким и ровным характером. Сейчас на нем светло-серый костюм и поверх — шикарная нейлоновая куртка с молниями. Пожалуй, он все-таки немного работает на публику — то энергично встряхивает головой, то картинно машет руками, но все это получается у него очень симпатично и естественно.

Около Ритки останавливается костюмер Нина.

— Ну, о чем мечтаешь? Слушай, где Степке куртку взять?

— Какую куртку?

— Он в Киеве забыл свою куртешку — 56 размер. Вот и найди попробуй. Снять с кого-нибудь нужно. Смотри по сторонам: может, где увидишь такую? Да ты на кого смотришь? На Рыжика что ли?

— На какого Рыжика?

— На нашего — на Шорина. Его ж покрасили, ты что ж, не заметила?

И правда, волосы Шорина теперь отливают каштановым блеском.

— А зачем?

— Специально под тебя, чтобы вы с ним гармонировали.

— Так я же не в кадре,— кокетливо отвечает Ритка и смеется.

— Сомову не понравилось, что на фоне черного асфальта — черные волосы.

Сомов, режиссер их фильма «Авария», важно ходит неподалеку, далеко отбрасывает длинные ноги. «Вот уж кто с асфальтом сливается»,— думает Ритка, глядя на его черный кожаный плащ, черный берет, черные вельветовые брюки и черные ботинки.

— Ну, Шорин ладно,— говорит Нина,— но эту дурочку Ларису зачем взяли? Актриса называется. Да она даже в кадре не держится технически: то выпадет из него, то из резкости выходит. Вчера-то на съемках видела? Эпизод с больным ребенком, которого выносят из самолета? Дали ей сверток, так она идет, столбиком его держит (и это женщина с двумя детьми), а потом как треснула его об люк! Шла вон на таких каблуках… Представляю, если б у ней, действительно, ребенок на руках был! И зачем Сомов ее взял?

—Ну, режиссеру виднее,— солидно отвечает Ритка.

Нина улыбается и отходит, напевая:

— Жираф большой, ему видней.

Съемочный период их картины подходит к концу, поэтому нужно снимать с утра до позднего вечера, пока не валишься с ног,— через неделю они должны вернуться из Москвы в Киев.

Ритка привыкла в киноэкспедициях не спать ночами, выдерживать любые нагрузки, а тут ей это все — и вовсе нипочем, здесь — Шорин, ради него она готова болтаться на съемочной площадке сколько угодно. И дело не в том, что он — кинозвезда. Киношников звездами не удивишь.

Когда Ритка впервые увидела Шорина, она тоже не особо удивилась: ну Шорин и Шорин, неплохой вроде мужик — и только. Хотя стаж работы на студии у Ритки небольшой: три года после школы, но и она успела повидать многое.

Шорина взяли на роль, чтобы сделать для фильма рекламу.

— Да что говорить,— сказал Сомов в минуту откровенья, хотя и не в его привычке разбирать фильм перед группой, которая его ставит,— фильм достаточно средний, — но тут же добавил, — ничего страшного, на экранах он пойдет, эдакий боевичок, да вот Шорин у нас играет, — и чуть помедлив, сказал, — ну и Лариса…

Шорин относился к этому фильму немного иронически, от возможности выбирать роли он перешел к следующему этапу: иногда позволить себе сыграть в средненьком фильме, зная, что это не умалит его в глазах поклонников.

…Ритка подумала вдруг о своей привычке, установившейся в последние дни, сравнивать всех мужчин с Шориным — она и раньше влюблялась в кого-то, но там было все не так, тех она ни с кем не сравнивала, а просто отделяла от других, а сейчас она искала в мужчинах черты Шорина, и если находила, то вдруг пугалась этого, то наоборот радовалась своим маленьким открытиям. Да и вся любовь ее к Шорину началась мимолетной пронзительной болью от незащищенности ее глаз, когда на какой-то ее обычный вопрос он только и спросил: «Правда?»

…На съемочной площадке произошла заминка, словно распалась цепочка, все разошлись по сторонам, заходили, забегали. Шорин отделился от суетящихся людей и неторопливо подошел к Ритке:

— Лихтваген там потеряли, вот я прямо к тебе. Ну, о чем будем сплетничать?

— О чем угодно,— с готовностью ответила она.

— Муженек, изменяешь? — к ним подошла Лариса, по фильму — жена Шорина. — Изменяешь с молодой, красивой?

— А ты не подглядывай, это недостойно добропорядочной супруги, — ответил Шорин и, взяв под руку Ритку, повел ее к автобусу.

Осветитель Петр Сидорович сидит все там же, правда, с бутербродом он давно справился и теперь взялся за термос с кофе, который подвесил на груди.

— Петр Сидорович, там по вашей части, — говорит Шорин,— лихтваген привозили или нет — как снимать будем?

Петр Сидорович безразлично махнул рукой:

— Без меня найдут,— но все же ворчливо встал и ушел.

— Ты поступать-то куда собираешься? — спрашивает Шорин у Ритки. — Или помрежем до пенсии будешь?

Говорит он шутливо, но Ритке не нравится, когда ее начинают наставлять «на путь истинный», напоминать об институте, словно с ней больше и говорить не о чем, поэтому она отвечает упрямо:

— До пенсии помрежем буду.

— Ты что такая сердитая? — Шорин не принимает ее обиженного тона и продолжает шутливо. — Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом.

— Да я и собираюсь во ВГИК, — вдруг отходит Ритка, — уже на конкурс работы послала.

— И что ты так далеко живешь? — сетует он.— Аж в самом Киеве.

В окно автобуса нетерпеливо стучит Сомов, жестом он призывает Ритку и Шорина выйти.

— Все, ребята, начинаем, — говорит Сомов,— Сергей, подойди к гримеру, пусть он тебе глаза подправит, господи, ты что плакал, что ли, глаза красные?

— Навзрыд,— отвечает Шорин и, подмигнув Ритке, уходит.

— А-а, совсем забыл, — говорит Сомов, глядя на Ритку, и достает из кармана уже помявшийся конверт, — тебе письмо передали. Ну все! Быстренько, быстренько! Беги, чеки на массовку выпиши.

Ритка бежит, чувствуя в себе приливающую радость, вся суета на съемочной площадке ей доставляет удовольствие — кино она любит со всей преданностью и с детским ожиданием светлого чуда, но больше всего она любит съемки. Это словно другой мир, где чувствуешь себя волшебником. Здесь как бы пересекаются две жизни — настоящая и придуманная, они находятся друг у друга в зависимости, могут влиять одна на другую и создавать какие-то свои условности. .

Ритку на киностудию взяли по случаю — группе, где работал ее дальний родственник, срочно понадобился помреж и, когда Ритка подвернулась, ее взяли временно. В первый же день молоденький ассистент режиссера послал ее мыть софиты. Ритка добросовестно плеснула на них водой, и осветительные приборы, не переносящие влаги, мгновенно перегорели. Ритку отругали, правда, с улыбочками: испытание софитами проходили многие новички, в том числе и ассистент режиссера, продолживший эту традицию. Пытались подшутить над ней и потом, но в общем-то Ритка вошла в жизнь группы органично и естественно. Ее родственник вскоре перешел куда-то, а она так и осталась здесь, прижилась. Ритка и раньше любила полистать киножурналы, узнавать на экранах знакомых киноактеров, а попав на студию, сразу почувствовала притягательность кинематографа, его особый мир — демократичный и веселый.

Подруги завидовали ей вначале: «Ты теперь при кино»,— просили провести на студию, но когда оказывались там, начинали скучать. Они ожидали встретить одних кинозвезд, а навстречу им попадались обыкновенные мужчины и женщины, занятые своей работой. Подруги на киностудию одевались в самое лучшее, нарядное, в надежде, что их заметят знаменитые режиссеры, но их никто не замечал, взглядывали иногда удивленно на розовые платья с буфами и тут же отводили взгляд. Они только мешались под ногами: то наступали на какой-нибудь провод, то оказывались в кадре, то что-нибудь заслоняли. Ритку же снимали в каких-то эпизодах, и это опять вызывало зависть и недовольство: «Чем же она нас лучше?» Но Ритке это все было безразлично. Ее завораживали сами съемки — удачно отснятые эпизоды, когда вокруг не замолкали шуточки и смех, и даже пересъемки, которые удручающе действовали на настроение группы. Еще Ритка любила водить знакомых по пригласительным билетам в Дом актера, эти фильмы могли появиться на экранах через неделю, но было приятно прийти сюда, как избранным. Девчонки и там пытались отыскать знакомых актеров, но те обычно отдавали

билеты своим портным, парикмахерам, продавцам, так что зачастую это был скорее Дом быта, чем Дом актера. Но девчонкам все равно нравилось сидеть в прохладном, гудящем на все голоса зале, чувствовать себя причастными к кинематографу и громко упоминать, что рядом с ними сидит помреж. Ритка пыталась им объяснить, что помреж — это вроде мальчика на побегушках, но девчонки отвечали, что помощник режиссера — все-таки звучит.

…Ритка присела на корточки около какой-то машины и стала торопливо выписывать чеки, пока не начались съемки.

Она вдруг вспомнила о письме, которое ей отдал Сомов, и уже зная от кого оно, нехотя распечатала. Письмо было от Саньки. Санька, не понимающий ее внезапного отчуждения, ее молчания, пытался опять напомнить о старой дружбе, приводя в качестве доказательства пословицу: «Старый друг лучше новых двух». Они учились с Санькой в одном классе, и он, как хвост, ходил за ней с десятого класса. Ритка не знала, как объяснить ему свое состояние, ее совершенную оторванность от старой жизни, поэтому молча запихнула письмо в карман. Письмо было не первое, и все на адрес киностудии «Мосфильм», он, видимо, думал, что все студии общаются между собой. Ритка поудивлялась тем людям, которые сумели разыскать ее, потом счастливо закрыла глаза, вспоминая Шорина, их фильм, думая о последних днях съемок в Москве, о том, как потом Шорин приедет к ним в Киев на озвучивание, и услышала вдруг, как кто-то подошел к машине с другой стороны. Раздались негромкие голоса, среди которых она узнала Шорина. Ритка уже хотела радостно вскочить и подойти к нему, но услышала голос Ларисы:

— Ты что, действительно, увлекся этой девочкой?

Шорин помолчал, потом ответил:

— Она славная. Чистая душа, с ней приятно поговорить, отдохнуть.

— Я все же не понимаю,— зло возразила Лариса, — зачем ты настаивал, чтобы я здесь снималась. Сомова уговаривал —

чтобы я смотрела, как ты бежишь к ней в любую свободную минуту?

— Ну, перестань, — жестко ответил Шорин, — ты же знаешь, что все это ерунда. Раньше бы ты и внимания на это не обратила, только бы посмеивалась. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Что с тобой, Лариса?

Она всхлипнула:

— Извини, Сережа, старею я, что ли? Мы знаем друг друга сто лет, а я все не могу привыкнуть к некоторым вещам. Ну, мы встретимся сегодня?

— Если успею… Да и неизвестно, сколько съемки еще будут.

Ритка сидела, не шелохнувшись, боясь, что ее обнаружат и обвинят в том, что подслушивает. Шорин с Ларисой ушли, а она долго еще сидела на корточках, пытаясь что-то понять и решить, потом медленно встала и, сглатывая слезы, поплелась к съемочной площадке. К губам она приложила ладошку, чтобы заглушить неосторожный утробный всхлип.

— Куда ты опять пропала, негодная ты девчонка?! — подбежали к ней. — Тебя только и ждем. Где твоя хлопушка?

Ритка подошла к кинокамере и, против воли, включаясь в привычную радостную суету съемки, ощущая всеми клеточками восторг энергии, крикнула:

— Кадр сто сорок третий, дубль один!

Бедная Лиза

Я ее почти не помнила.

Лиза проходила практику у нас в школе, когда я училась в четвертом классе. Она, наверное, была очень старательная студентка, к тому же и весьма восторженная. Когда на уроке Лиза рассказывала о каком-нибудь писателе, в глазах ее загорались огоньки самоотверженной любви, независимо от того, кто был этот писатель. Казалось, что Лиза говорит об очень близком человеке — она то и дело сбивалась с мысли, заменяя неловкие паузы нервными движениями рук и судорожной мимикой, путалась в словах, употребляла восторженно-банальные эпитеты. Так, когда мы говорим о дорогих нам людях, то думаем, что наполняем новыми значениями самые избитые выражения, и тогда уже не чувствуем грани между новизной и банальностью фраз.

Когда она заканчивала свои объяснения, голос ее сразу обесцвечивался, лицо замирало удивленно, отвыкая от иступленного выражения, как у человека, который произнес длинную, полную благородного пафоса речь перед гудящей толпой и вдруг обнаружил, что микрофон давно отключен. Лиза растерянно обводила глазами класс, пространство которого сразу разрасталось, впитывало в себя лица учеников, исцарапанные зеленые парты, огромные пыльные окна.

О таких людях принято говорить: они любят литературу. Не знаю. Все-таки мы в своих симпатиях довольно избирательны. Когда же человеку нравится все, что включает в себя печатные знаки, это настораживает. Может быть, это и есть преданность литературе, но слишком уж…

В нашем классе всегда возникали какие-то невероятные предположения, которые даже не всегда имели своих первооткрывателей, а, казалось, сами создавались из ничего, уверенно носились вокруг нас, как джинны, выпущенные из бутылки.

Помню, как-то в первом классе мы шли домой после уроков и застали на улице необычное зрелище. Толпа, цветы, музыка. Улица изменилась совершенно. Толпа двигалась, как в замедленной съемке, и слитая в одно целое, вырастала в какой-то зловещий символ. Цветы падали на землю, поверженно краснея изломанными лепестками, но этого никто не замечал. Музыка была странная, как бы замершая на одной ноте. Вообще говоря, музыка была плохая. Вернее, не сама музыка. Плохим было исполнение. Музыканты шагали, привычно понурые, и лениво надували щеки. Вначале мы остановились, как вкопанные. Народу было очень много, и мы не могли понять, кого хоронят. Потом, с трудом преодолевая притяжение толпы, побежали туда, откуда процессия брала начало. И тут в наших рядах пронеслось — вон ту женщину хоронят. Ну, а кого же еще? Она шла в черной одежде, жалко свисающей, как мокрые пряди волос. Она раскачивалась из стороны в сторону, плакала громче всех и надрывней, в руках ее была какая-то бархатная подушечка с неровно прицепленными блестящими бляхами и шагала она прямо за гробом, медленно плывущим перед нею. Отчего она так плакала — да оттого, что пришло время умирать, и ноги уже не несли ее.

Столь же невероятные осмысления событий приходили к нам и позже. Так было и с Лизой. Кто-то сказал, что, если мы хотим, чтобы Лизе поставили за практику пятерку, нужно на уроке молчать, как рыба, не отвечать ни на какие вопросы. Мы с блеском выполнили это условие. Не знаю уж, как Лиза вывернулась из этого, потом мы видели ее плачущей в углу коридора, и многие из нас впервые поражались людской неблагодарности — для человека сделали все, что можно, а он не торопится с благодарностями, и глаза у него на мокром месте. Затем все как-то само собой наладилось. После уро-

ков ребята ее окружили, и видно было, как счастлива Лиза от этого (тут уж без всякой иронии). Я на таких переменках не слезала со своей парты, смотрела, набычившись, в сторону Лизы. Или выходила в коридор. Мне было скучно оттого, что она всегда говорила по учебникам, что все писатели в ее речи удостаиваются эпитетов «гениальный», «талантливейший», «необыкновенный».

Вскоре Лиза исчезла из нашей школы — отбарабанила свою практику, получила прекрасную характеристику и вернулась в институт.

Я ее почти и не помнила.

Через год к Лизе меня потащила подруга Галя, которая и тогда на переменках не отходила от нее, а теперь, оказывается, захаживала к ней в гости.

Лиза обрадовалась, увидев нас, чем напомнила свои восторженные лекции. Она дала нам денег на торт, и мы долго колесили по холодному городу в его поисках.

Лиза, конечно, забыла, как меня зовут (а, может, она этого никогда и не знала), спросить мое имя она не решалась, видно, это не вязалось с ее представлениями о настоящем учителе. Она ловила каждое слово Гали — не прозвучит ли мое имя. Имя, наконец, прозвучало, и Лизу переполнял восторг — оттого, что мы пришли, оттого, что у меня оказалось такое замечательное имя, с которым она теперь почти не расставалась, скандируя его на все лады — Ирочка, Ирунчик, Ирлюшечка, Иринчик, Ирусик и т. д. Никогда я еще не слышала в свой адрес такого обилия ласковых имен. Я поняла, что восторг Лизы распространяется не только на всех писателей, но еще и на всех детей, а в душе моей зарождалось подозрение, что это еще не все.

С той поры я стала появляться у Лизы каждую неделю.

Она жила в общежитии.

Меня тогда еще не коснулось общежитское житье, и мне все нравилось — множество веселых людей, ряд одинаковых умывальников, кухня, наполненная различными запахами — крепкий аромат только что смолотого кофе смешивался

с удушливым запахом пригоревших котлет, нежная, летучая ваниль изо всех сил боролась с острым запахом чеснока, округлый пар разварившихся розовых картофелин трудно было отделить от пыхтения забытого чайника…

На вахте строгая тетя в ватнике каждый раз спрашивала документы, которых у меня по малолетству, естественно, не было, и называла меня на «вы» — мне нравилось это уважительное отношение.

Такое обилие молодых, кажущихся мне прекрасными, лиц. Где учителя с теми прекрасными лицами, которые встречались мне в тесных общежитских коридорах? Куда девались потом эти люди? Кто-то миновал школу, чьи-то черты исказились манией величия (трудно этого избежать, когда ты волен распоряжаться чужими судьбами, волен похвалить и покарать), на чьи-то лица легла печать бездарности учебных планов, бессмысленных повторений того, во что нет веры, и т. д., и т. п.

Девочки жили вчетвером, ко мне они мало-помалу привыкли, и не обращали почти никакого внимания. Они искали утюг, гонялись за пробегавшими тараканами, курили, выщипывали брови — но весь этот быт не принижал их в моих глазах, а вызывал стойкое любопытство. Это вовсе не походило на мое ощущение, когда я увидела в гастрономе нашу арифметичку, рассматривающую банки со сметаной. Помню, как я поразилась, учитель был для меня высшим существом, лишенным наших будничных забот. С той поры мое преклонение перед математикой настигло безразличие, и то, что я не была потом переведена в специализированную физико-математическую школу — во многом было следствием того, что я однажды наблюдала, как моя учительница рассматривала, какое число стоит на банке — свежая ли сметана.

Я звонила Лизе на вахту, и она назначала мне день и час встречи. Лиза не любила, чтобы ее заставали врасплох, помню, как она засмущалась, когда я пришла, не предупредив ее, и застала Лизу в стареньком халате, когда она, криво ступая и поскальзываясь на мокром полу, тащила тазик с замоченным бельем.

Лиза встречала меня в тех же воздушных блузках и присборенных широких юбках, в которых ходила в школу. На шее ее блузки увенчивались бантами, и мне очень хотелось дернуть за кончик банта.

К моему приходу покупались печенье или торт, заваривался крепкий чай или кофе, и многие из Лизиных знакомых пользовались моментом, завидев меня, тут же шли в гости к Лизе. Поэтому за столом всегда было полно народу и много разговоров. В редкие минуты нашего одиночества Лиза задавала мне вопросы полурастерянным тоном, как я живу, на какой каток хожу, когда мне присвоят очередной разряд по легкой атлетике, читала ли я такую вот замечательную книгу. Я односложно отвечала на все вопросы. Мне не приходило в голову, что с ней можно поговорить так, как с подругами. Бедная Лиза, руководимая все тем же чувством учительского долга, мучилась, пытаясь меня разговорить, но у нее ничего не получалось. Я же была вполне довольна нашим общением.

Галя со мной к Лизе больше не ходила. «Да ну ее,— махнула она рукой.— Я думала, в общежитии у них лучше, а у них шторки на окнах грязные, и вообще далеко ехать. Да и литературу я не очень люблю». Я Галю особенно не отговаривала. Мне хотелось, чтобы внимание Лизы целиком принадлежало мне.

Чем же она меня привлекала? Пожалуй, своей восторженностью. Мы с малых лет были склонны к скепсису, и с малых лет нам не хватало той восторженности, над которой мы бы в душе посмеивались, но к которой все-таки тянуло.

Потом появился Коля, большой, краснолицый, скучный, с уныло повисшим носом. Лизины кофточки стали еще более воздушными, теперь они уже не напоминали проколотые воздушные шарики, теперь они весело пузырились и пытались взлететь в небо, так что Лизе приходилось все время их одергивать. Лиза при Коле смущалась еще больше. Теперь уже не только я односложно отвечала на ее вопросы, но и он. Наши беседы проходили очень интересно и разнообразно, примерно вот так:

— Ирочка, как дела в школе? — спрашивала Лиза.

— Ничё,— говорила я, ковыряя в носу и смотря в пол.

Лиза продолжала мученически улыбаться и спрашивала у Коли:

— Коля, а у тебя как дела на работе?

Коля в носу не ковырялся, но в пол смотрел тоже и ответ выдавал похожий:

— Нормально.

— Ирочка, что по литературе проходите?

— Да-а, — тянула я неохотно, — Лермонтова.

— Коля, как твоя машина?

— Ездит. (Коля работал шофером на ЗИЛе.)

…Потом Лиза переехала к Коле. Я восприняла это как предательство, только успела привыкнуть к общежитию пединститута, к веселым голодным людям, слетающимся на чаепития и отрезающим себе огромные куски торта, к беспорядку одинаковых комнат, к мрачности лестничных пролетов (которые, казалось бы, вели в какое-то чудовищное подземелье с сырыми стенами и хлюпающей водой под ногами, с летучими мышами, задевающими твое лицо шершавыми боками), ко взрослым девушкам, которые толковали про дисциплины с мудреными названиями и про распределение — как у меня это все разом отобрали.

Но самое главное, наши беседы с Лизой теперь откладывались на неопределенное время, потому как ни Коля, ни его родители не собирались предоставлять нам с Лизой прибежище для наших разговоров. Только теперь я поняла, как важны для меня встречи с бедной Лизой, с ее вниманием к каждому моему слову, с неизменным участием к моим мелким проблемам, с ее призывами к честности, справедливости и терпимости, с ее советами, которые были бессмысленны сами по себе, но утешали и поддерживали желание жить дальше.

Когда же у ней появилось это прозвище — Бедная Лиза? Раньше я не задумывалась об этом, и эпитет «бедная» казался мне чем-то вроде фамилии. А мало ли какие странные

фамилии бывают у людей, обычно в их этимологии не копаются.

Прошло много лет с тех пор, как я в последний раз видела Лизу. Когда я вспоминала наши беседы, дурацкая ухмылка неизменно посещала мое лицо. Надо же, думала я, как бездарно мы тратили время.

Как-то приехав в свой город, я встретилась на улице с бывшей Лизиной однокурсницей. Почти уже закончив разговор, перекинувшись дежурными фразами, я спохватилась:

— Да, а как Лиза?

— Бедная Лиза?

— Кстати, а кто ей дал такое прозвище? — пришла мне в голову мысль.

— Кто? — переспросила Лизина однокурсница. А, ну да, как-то на русской литературе у нас был спор о сентиментализме. Все говорили, что сентиментализм не прижился на русской почве. После «Бедной Лизы», вслед за Карамзиным, пошел поток всяких Бедных Варь, Мань и т. д. Но не с них началось эпигонство, а еще с самой «Бедной Лизы». Одно дело — «Страдания юного Вертера»… Ну а Лизе в русской литературе, сама знаешь, нравилось все. И она со слезами на глазах стала защищать Карамзина, говорила о психологизме, о ясности слога… Ну вот с тех пор ее и стали называть «Бедной Лизой»…

…Адресное бюро за пять копеек поделилось со мной сведениями о Лизином месте жительства. Я, не долго думая, тут же отправилась к ней в гости. Мне открыл Коля, и ничуть не удивившись моему приходу, словно мы еще вчера с ним обсуждали прогноз погоды на неделю, пропустил меня в квартиру и уселся за стол, растопырив локти и накрывая своею тенью ополовиненную бутылку водки.

— Один, что ли, пьешь? — спросила я.

— Чё? — Коля выпятил мокрую губу, демонстрируя свою независимость, это у него получилось забавно.— Сейчас вот и ты пришла. Тяпнешь со мной?

Нос его повис еще ниже, на лице выступили черные оспины неровного загара.

— Что-то не хочется,— сказала я, оглядывая стол с размазанными хлебными крошками и трогательными рыбьими скелетиками. Коля ничем не отличался от пьяниц, изображаемых на веселых картинках в «Крокодиле». Даже голова его казалась деформированной карандашом художника, с нелепыми буграми и утрированной краснотой носа.

— А ты, значит, в Литературном институте учишься? — поддержал беседу Коля.

— Откуда ты знаешь? — удивилась я.

— Народ знает своих писателей, — гордо ответил он и плеснул в граненый стакан новую порцию.

— Да, — я с сомнением покачала головой. — А где твоя супруга?

— Где? — усмехнулся Коля.— В школе, где ж ей быть, литкружок ведет. «Я помню чудное мгновенье»… На своего ребенка времени нет, к свекровке отправила, а с чужими детьми интересней. Кто чужими мужьями интересуется, а кто — чужими детьми. Каждому свое.

— Ну, чужие мужья, наверное, интересней, чем чужие дети.

Коля, воспринявший мое замечание на свой счет, приободрился и погладил мое колено:

— Ты так считаешь?

Я гадливо стряхнула его руку:

— Ну и когда же придет Лиза?

— А хэ ее знает.

— Кто знает? — поинтересовалась я.

— Никто, — Коля помрачнел.

Я с любопытством оглядела комнату: потертый коврик на стене, разбросанные игрушки, старая мебель, не знающая ничего, кроме прямых углов, стол, заваленный тетрадями, книжный шкаф, закрытый на замок.

— А что это у вас со шкафом? Мода, что ли, такая? Или символ?

— Это чтобы я книги не пропивал, — охотно пояснил Коля.

— А-а-а…

Лиза появилась в комнате незаметно, как будто прошла сквозь стену. Я даже вздрогнула. Если музы приходят к поэтам таким же образом, удивительно, как поэты не получают при этом инфаркт. Не было Лизы — и вот, уже стоит посреди комнаты, и вместо лиры в руках раздутый портфель.

— Милый Ирлюсик, — она поцеловала меня в бровь, — какая радость-то, радость-то какая.

«Какая уж там радость», — подумала я и тоже чмокнула ее.

— А ты все пьешь? — спросила Лиза мужа без укора, тем тоном, каким обычно спрашивают: «А ты все там же работаешь?»

— А что ж я делать буду? — Коля опять вытянул губу. — Ребенок у свекрови, жена — черт знает где.

Лиза повернулась ко мне с виноватым видом:

— Что делать? Семья из-за меня рушится. Знаю все, знаю, но делать-то что,— она закрыла глаза, — ведь в школьниках надо развивать чувство прекрасного, понимаешь?

— Ну и как ты развиваешь у них это чувство прекрасного?

Лиза, не замечая моей иронии, вздохнула:

— Много у нас планов, много. Вечера, экскурсии. Читаем… Да и пишем помаленьку,— она загадочно улыбнулась.— Есть у меня один чудесный мальчик. По-моему, талант недюжинный.

«Где ж она так хорошо освоила газетный стиль?»,— подумала я, глядя в ее оживленное лицо.

— Прямо-таки недюжинный? — переспросила я.

— А ты думала, мы ведь тоже не лыком шиты. А ты, я слышала, теперь вышла на большую дорогу жизни?

— На большую дорогу? Грабить что ли? Ну ладно, расскажи, как у тебя дела. Как в школе?

— Да зарплату вот прибавили, все равно не хватает, у ребятишек денег нет, а по экскурсиям их водить надо? Ну вот, так все. И дефицитные вещи учителям давать стали. Тушенку там, кроссовки… Но это все мелочи. Главное, с ребятами у меня полный контакт. А ты куда после института? Тоже в школу преподавать?

Мое лицо невольно вытянулось:

— Как говорит мой знакомый: ну уж это вряд ли. Чтобы рассказывать детям о Фадееве, который в сталинское время посадил 99 писателей? Который отказался принять Цветаеву не только в Союз писателей, но и в Литфонд, который поражался ее необоснованным претензиям на жилплощадь, тогда как была «большая группа очень хороших писателей и поэтов», стоявших на очереди, а тут какая-то эмигрантка вернулась? А я, значит, буду говорить, как он расписывал подвиги комсомольцев? Как диктует школьная программа?

Лиза покраснела:

— Так что ж? Его произведение живет отдельной жизнью. И учит детей только хорошему. Он же искренне воспевал подвиг краснодонцев.

— Ну поехали, покатили. Что значит — отдельной жизнью? Я уже не говорю об его ложной эстетике, если для тебя даже жизнь писателя не аргумент. Значит, учить может кто угодно, лишь бы только хорошему?

— Жрать-то принесла что? — не выдержал Коля и покачал за хвост один из рыбных скелетиков.

Лиза всполошилась:

— Чайку, чайку сейчас организуем, я вот печенья купила, колбаски.

— Пойду, — сказала я, — дел еще полно. Может, забегу еще когда.

— А чайку?

— В другой раз.

— То есть как, может, еще забежишь? Обязательно зайди. Я тебя непременно должна познакомить с Алешей. Ты все поймешь. Это изумительный мальчик. Стихи у него — как капля росы — чистые, прозрачные.

— Ну хорошо,— согласилась я без энтузиазма, — приводи свое юное дарование.

На следующий же день я, отягченная чувством долга, лицезрела это юное дарование. Мальчишка мне не понравился сразу. Он сидел, закинув ногу на ногу, ежесекундно откиды-

вая со лба спадающие волосы. Я со вздохом раскрыла потрепанную тетрадку, свернутую в трубочку: «Спасибо, ветераны, вам, что вы спасали землю нашу». Перелистала. «Любовь мне светит, как маяк, да и живу я как моряк».

— Значит, ты как моряк живешь? — спросила я.

— Ну это образно говоря, — с достоинством объяснил Алеша, немного смущенный моим непониманием.

Я почитала еще минут десять и возвратила ему тетрадку.

— Ну как? — сухо спросил он, терпеливо ожидая восторгов, с ничем иным он, по-моему, еще не сталкивался.

— Хвалят тебя? — поинтересовалась я.

— В общем, да, — с тем же достоинством сказал он.

— Тебе сколько лет?

— Четырнадцать.

— Бросай писать, парень. Если жизнь себе не хочешь испортить. У графоманов жизнь тяжелая. Им веселиться некогда. Вся жизнь уходит на то, чтобы рассылать свои опусы по журналам и на борьбу с редакторами. Иногда они, правда, в этой борьбе побеждают, но им этого мало — воодушевленные победой, они удесятеряют свой пыл — а дальше сплошные разочарования. Ты себе хочешь такую жизнь?

Алеша засопел.

— Ну вот и правильно, — одобрила я его пессимистическое настроение, — бросай это дело и занимайся футболом, музыкой. Рок любишь? Хэви мэтл? Скорпионс? И вообще не расстраивайся, литература приходит в упадок, а музыка — это то, что спасет мир. Все дело в многообразии ассоциаций. Ну так любишь рок?

— Нет, — едва не плача, выдавил мальчик, — я люблю классическую музыку.

— Та-та-та-та-та-та-та-та… — изобразила я жалкое подобие 40-й симфонии Моцарта.

— Моцарт,— гордо определил Алеша.

— Классическая — это, конечно, хорошо, но все же в твоем возрасте нужно и рок слушать.

Лиза стояла в коридоре бледная, с прижатыми к груди руками, ни дать, ни взять — мамаша, ждущая сына с приемных экзаменов в институт.

— Ну как? — тревожно спросила она.

— Все в порядке, — я пожала плечами.

Лиза кинулась в комнату и через пять минут выскочила оттуда:

— Как ты могла? Как ты могла так обойтись с ребенком? Да ты знаешь — что ты в нем убила? Веру в светлое! Ты не его стихи оскорбила, а все то, что в нем есть чистого! Стихи он, может быть, потом и бросил бы писать, но зато бы приобщился к богатству художественного слова.

— Ну полно, — сказала я, — не надо в мальчике культивировать веру в то, что он самородок.

Я шла по вечернему городу, ругая на чем свет стоит свой приход к Лизе. Может быть, я и могла бы покривить душой в какой-нибудь другой ситуации, но тут… Мальчишку надо было одернуть — это будет лучше и для него, и для редакторов. «Редактора, редактора, — думала я, — не знаете вы, кому надо приносить букеты цветов за то, что вас избавили от очередного графомана». Мальчишка займется каким-нибудь общественно полезным делом, и все будет замечательно. В общем, я была довольна своей принципиальностью, жаль было только бедную Лизу, что она так расстроилась. Ну да ничего, она найдет себе какое-нибудь другое юное дарование.

Я шла по вечернему городу и не знала, что через десять лет имя Алеши прогремит в литературных кругах, и я, с удовольствием перечитывая его стихи, так никогда и не пойму, что этот поэт и есть тот мальчик, который пришел когда-то на встречу со мной, держа в руках потрепанную тетрадку.

Благодарим за покупку!

Стефка шагала по темнеющему городу, как больная, только что вставшая с постели, привыкшая к недвижению — жадно впитывала морозность зимнего воздуха, его вязкость под колючим шерстяным шарфом, отворачивала от ветра задубевшее неподвижное лицо.

Она быстро преодолела привычную полосу до метро, темной дырой разбивающего улицу на две половины, и, нащупав в кармане, дополна набитом мелочью, пригоршню монет, разжала грязную потную ладонь. Легче было бы купить «единый», но вроде проездной ни к чему, если каждый раз, когда она возвращается домой, карманы наполнены медяками. Даже когда случается недостача. Директор Владимир Наумович на десятчики морщился, а медяки и вовсе не брал, сгребал поближе к ней: «Это будешь нищих оделять». Он молча запирал полученные деньги в сейф, а если была недостача, небрежно говорил через плечо, сколько за ней остается, и она, забирая мелочь, так же молча уходила. Наумыч никогда не записывал, кто сколько должен, но она знала, что, несмотря на многочисленные расчеты в магазине, он помнит своих должников и суммы до копейки, хоть и любил повторять, что в магазине все у него построено на доверии, и каждый должен сам помнить свои долги. Если Наумыч был в хорошем настроении, он мог простить недостачу рублей в пять—десять, но чаще — наоборот, забирал пятерку «на такси». Около метро на лотках торговали яблоками, апельсинами, и Стефку зло брало, что у них в магазине уже второй месяц ничего не было, кроме картошки, моркошки, свеклошки и квашеной капусты. То ли на базе — пшик, то ли Лешка, которому в принципе все было

безразлично, за товаром не поспевал, хотя сам регулярно жаловался, что ничего не может притащить детям из фруктов, и жена постоянно ругается.

— Я — пофигист,— объяснял он, щадя ее слух и не сколько видоизменяя себе название.

Вдобавок к Лешке Наумыч принял еще одного заведующего, в отличие от квелого Лешки — суетливого, но такого же бестолкового.

Продавщицы, переговариваясь в своем кругу, лихо сплевывали:

— Набирает, набирает себе Наумыч помощничков. Нас грабит, надо же деньги куда-то девать, делиться с кем-то.

Наумыч степенно выплывал из кабинета, осторожно неся свое тяжелое тело, и, задевая какую-нибудь из молоденьких продавщиц, лукаво косил воловьим глазом. Разговоры стихали, и все расходились по рабочим местам.

Нащупав пятачок и проходя мимо женщины, стоящей с вывешенными на груди проездными, Стефка ощущала неловкость, вроде как все люди, стекающиеся к метро, направляются к этой женщине, чтобы бросить монетки в ее ожидающую руку. Поэтому Стефка убыстряла шаг и ныряла вместе с толпой в ниспадающий поток эскалатора.

Вечером поезда шли наполненные до отказа, так что не удавалось не только сесть, но и встать более-менее удобно. Целый день за прилавком — все лица примелькались, превратились в какую-то одну бесформенную массу. Каждый из этих людей, стоящих около нее, час назад мог накричать на нее, потребовать товар получше. В этой нерасчленимой массе люди были похожи именно тем, что каждому хотелось купить самые лучшие фрукты и овощи, которые только есть на свете, других забот у них словно не было, так самоотверженно относились они к выбору продуктов. Работа, семья, друзья, книги — все это было придатком к основному — походу в магазин, где, оттолкнув другого локтем, ввинтившись в прилавок, нужно выбрать покрупнее, поспелее, покруглее… Стефка с ненавистью глядела в эти усталые, незлые лица, на раздувшиеся авоськи.

Те, кому удалось плюхнуться на сиденья, либо замерли с закрытыми глазами, либо читали. Интересно, а что кажется машинисту? Что основа существования этих людей в том, чтобы успеть на поезд, занять свободные места, а потом прочитать утреннюю газету?

На Автозаводской поезд выныривал из туннеля и какое-то время шел над рекой. Сколько ни смотрела Стефка, она редко видела над этим местом солнце, серая картина напоминала какой-то военный пейзаж. Грузовики, медленно ползущие по берегу, и мрачная река, утратившая свою зеркальность, некрасиво застывшая, как охлажденное суфле. Величественность большого пространства была унылой, и народ, выглядывающий из окон поезда, молча наблюдал за этой картиной с отрешенными лицами, словно это была экскурсия по местам боевой славы.

За осень Стефка отвыкла от толкучек в метро, потому что овощные магазины закрывались на час позже. А лотки стояли — до темноты. Хотя домой она приезжала, когда все уже укладывались спать, в метро было просторно. В магазины после восьми покупатели почти не заходили. Лешка, когда Наумыч не отпускал его раньше, ходил из угла в угол, а как-то в сердцах сказал:

— Кто придумал это дурацкое постановление? Вот если хоть один покупатель зайдет к нам, я отдам ему бесплатно пять килограмм винограда, да еще десятку прибавлю на такси.

Продавцы и грузчики с любопытством высыпали из подсобки в зал, напряженно следя за дверьми. Покупателей все не было, уже готовились к закрытию, а Лешка заворачивал отборный виноград домой, когда в магазин забрел старичок. Сразу побежали за Лешкой: «Иди, там тебя спрашивают, и пять килограмм не забудь». Лешка лениво вылез из-за стола и, не выплюнув сигареты, забытой в уголке рта, вышел с кульком в салон.

Это был один из постоянных покупателей магазина, наравне со вздорными старушками он любил оспаривать каждую одинокую виноградинку, игнорируя замечания продавцов о

том, что на каждый килограмм винограда полагается десять процентов россыпи. В этот раз старичок был настроен миролюбиво и растерялся, увидев, что обычно пустующий в вечернее время зал полон работниками магазина, и заторопился к выходу. Его окликнули. Старичок нерешительно приостановился, с испугом глядя на продавцов, которых не раз радовал жалобами.

— Мы решили преподнести вам приз, как нашему постоянному покупателю, — Лешка протянул ему кулек с виноградом.

Старичок подозрительно посмотрел на прекрасные матово-розовые кисти.

— Берите, берите,— подбадривали его.

Старичок, завороженный великолепным зрелищем долгожданного винограда, оставил свою подозрительность и спросил с ходу:

— Куда платить?

— Это подарок,— ответили ему.

Старичок с сожалением посмотрел на виноград, который по непонятной причине должен был вернуться к этим насмешникам, вздохнул и пошел к выходу. Его догнали и все-таки всучили злополучный пакет. Чтобы до конца не напугать покупателя, десятку было решено не отдавать.

С тех пор старичок терпеливо сносил, когда ему накладывали виноградную россыпь полными горстями…

Дома уже поужинали и сидели у телевизора, досматривая многосерийный фильм, лишь отец на кухне, обряженный в цветастый передник с кружевами, домывал посуду. Он не мог досидеть у телевизора, если передача ему чем-то не нравилась, и потому был обречен на выполнение домашних дел.

Отец пододвинул к Стефке кастрюлю с супом:

— Наливай сама. А то я занят. Важным делом. По-моему, наша семья решила, что кухня — мое призвание.

Стефка так плеснула в тарелку суп, что брызги разлетелись в разные стороны.

— Ты что злая? — удивился отец. — Недостача, что ли?

— Да устала я, устала.

Стефка села за стол. Суп уже остыл, но разогревать было лень.

— Что, у вас в мага́зине ничего нового не появилось? — спросил отец, делая неправильное ударение в слове «магазин».

— Ничего.

Он вздохнул:

— Хоть бы картошки принесла. А то я скоро вас вермишелью кормить буду.

— Да, потащу я вам картошку с другого конца Москвы. Пусть Степка приезжает, да набирает сколько надо. У нас пока польская есть. Люди берут мешками.

— Я ему вторую неделю говорю, чтобы приехал к тебе.

Фильм закончился, в комнате задвигали стульями, и на кухню прибежал Степка, держа в руках зеркало.

— Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи, — процитировала Стефка.

— Прожуйся вначале, торговый работник, — гордо ответил брат.

Степка третий год пытался поступить во ВГИК и никак не мог понять, почему его не торопятся туда взять. Будучи подбодрен отзывами нескольких дворовых девчонок, он считал себя очень талантливым и красивым. Стефка считала его маленьким уродцем.

— Кому нужна такая белобрысина, как ты? — поинтересовалась она.

Судя по тому, что брат не огрызнулся, было понятно, что сейчас он опять будет о чем-нибудь просить. Степка молча уселся напротив, дожидаясь когда из кухни уйдет отец. Тот уже вытирал последнюю тарелку и пытался втиснуть ее в сушилку, где не осталось свободного места. Тарелки падали, отец чертыхался и снова пытался их установить. Наконец ему это удалось, и он ушел из кухни.

— Ну как работа? — спросил Степка, пытаясь придать своему голосу проникновенность. На его взгляд, ему это отлично удавалось.

— К делу, — сказала Стефка, которой не доставляло никакого удовольствия, что брат наблюдает за ее ужином.

— Чего? — обиделся он.

— Чего тебе надо, артист вонючий? — спросила она, с удовольствием глядя, как Степкино лицо, и без того с красноватым оттенком, как у большинства белокурых людей, наливалось багровым румянцем.

Степка сглотнул ответные слова, пытаясь сдержаться.

— Между прочим, я хочу тебе помочь, — сказал он.

— Интересно, в чем? — Стефка насмешливо посмотрела в его серые, словно выгоревшие, глаза.

— У меня другая на заводе работает. Принеси гирьку, мы ее высверлим грамм на двести.

— Сухари-то мне потом будешь таскать?

— А ты гирькой осторожно пользуйся. Когда вечер или раннее утро. ОБХССники, поди, не круглые сутки ходят.

— Мне вчера мужик такую за три червонца предлагал,— сказала она.

— Ну вот видишь, — оживился Степка, — а тут бесплатно.

— Дороже станет, — она с недоверием посмотрела на него. — Тебе что, опять бабки нужны?

— Обижаешь. Сам могу тебе одолжить, если хочешь.

— Откуда у тебя?

— Мало ли откуда? — он дернул плечом, — банков не граблю.

— Ну, а что тебе тогда надо?

— Мне нужно пяток «балаганов».

— Каких еще балаганов?

— Ну это типа трикотажного свитера, с рисунком. На ночное белье похоже.

— Сильно похоже? Может, и будешь ночное белье носить? Ничего доставать не надо.

— Не забывай, что я все-таки твой брат,— насупился Степка.

— А где я тебе возьму? Как ты знаешь, я работаю не в промтоварном, а в овощном.

— Ладно, брось, у тебя везде знакомые.

— Напротив, — она взглянула на брата, на его сморщенное личико с подкрашенными ресницами, и спросила, зная, как страдает Степка из-за своих коротких белесых ресниц, — тебя голубые за своего не принимают? Ты бы еще нарумянился.

Степка дернулся и перешел на фальцет:

— Заткнись!

Он был похож на отца, но весь какой-то неяркий, белобрысый, невысокий. Стефка считала своего отца эталоном мужской красоты, обожала его густой бас, всегдашнюю элегантность, строгие костюмы.

— Ладно,— сказала она брату, — так и быть, наведу справки о твоем нижнем белье.

Ночью Стефка долго не могла уснуть, стоило только закрыть глаза, как из рваной темноты появлялись намелькавшиеся за день овощи. Если б она пыталась считать общепринятых баранов, у ней бы ничего не получилось. Вот картошку можно было считать, она расстилалась необозримым полем, считай — не хочу. Но лишь она попыталась прибавить одну катофелину к другой, как из темноты раздался покупательский голос, громкий и глухой, как у пророка: «Ту картошку мне не ложите, не видите разве, что гнилая?» Стефка вначале пыталась доказать, что в русском языке слова «ложить» нет, потом принялась доказывать, что картошка эта вполне стандартная, потом картошка вместе с покупателем провалились в пустоту, а их место заняли золотистые апельсины с бугорчатой кожицей, потом — помидоры, которые покрывались гнилью на глазах, по их поверхности ползли трещины, как по домам при землетрясении, помидоры распадались на слизистую мякоть, и Стефка проваливалась в сон, унося последнее беспокойное впечатление от того, что помидоры гниют.

А потом на нее стали рушиться ящики с виноградом, и она никак не могла увернуться от них, ящики бежали за ней, поднимались ввысь и оттуда в пикирующем полете устремлялись на нее. Головная боль пронзила Стефку, прошлась по всему телу, как ток, и она проснулась.

Звонил телефон. Этот паршивец Степка опять не отключил его на ночь. Времени — четвертый час. Звонили, наверняка, этому паршивцу, но он вовсе не торопился поднять трубку. Своим друзьям и девчонкам он говорил: «Звоните в любое время». На слабые возражения матери и Стефки начинал объяснять, что отключать телефон — это первейшее проявление мещанства, истинная жизнь начинается по ночам, самые откровенные признания происходят именно тогда. И потом мало ли что может случиться ночью, ведь время не замирает по ночам оттого, что люди спят, а идет своим ходом, и нельзя быть в плену у своего сна, чтобы не прозевать этот момент. Несмотря на свои рассуждения, Степка вовсе не собирался вставать, не реагировал на настойчивые звонки, когда ободренные его разрешением приятели звонили.

Стефка наконец не выдержала, подняла трубку:

— Алло.

В трубке хихикнули и нажали на рычаг. Разгневанная Стефка отправилась к спящему брату, растолкала его:

— Если ты еще хоть раз не отключишь телефон, я пооторву ноги тебе и твоим девчонкам.

Степка вяло шевельнулся:

— Отвали, спать хочется. Ничего не понимаешь. Поклонницы резвятся.

— Тихонов Вячеслав, — съязвила она.

— Не оскорбляй меня, — вяло протянул он. — Ладно бы хоть с Робертом де Ниро сравнила. Надо знать вкусы современников.

Степка повернулся к ней спиной, давая понять, что разговор закончен, и тут же засопел.

Стефке хотелось продолжить разговор, но запал уже пропал, ей стало жалко брата, и она вышла на цыпочках из его комнаты. А потом — опять все сначала: картошка, апельсины, помидоры, затем сон.

Утром, сидя в подсобке, она с неудовольствием вспоминала о вчерашнем звонке, она не выспалась. Не было еще ни Наумыча, ни Лешки, а новый зам работал в другую смену. Из

всех продавцов работала только Нина, которая лениво продавала картошку, небрежно сдувая со лба расстрепанные волосы.

— Иди поспи, — сказала Нина, — Лешка говорил, что сегодня машина с яблоками придет, тебя на лоток поставят.

Стефка зашла в маленькую каморку, где располагались ведра уборщицы. Она закрыла глаза. Слышно было, как в развесную чашку падает картошка, и это было похоже на то, как камни падают с горы — с тем же глухим звуком.

А гора примерно как с картины Рериха — такая же величественная и игрушечная одновременно — насыщенный синий цвет переходит в голубоватую дымку. Камни падали мерно, отзывались эхом и катились вниз в восторге падения, кувыркаясь, давая почувствовать всем своим граням скорость, как мячики, отталкивались от каменной поверхности. Вспышка горизонта, мерцающий островок неба, скачок вниз и наконец беспредельность падения — ворчащий затихающий голос камней, устремившихся в никуда, скользящих и подчеркивающих неподвижность самих ультрамариновых гор.

Дверь в подсобку со скрипом открылась. На пороге стоял Лешка, уже успевший облачиться в грязно-белый халат.

— Здорово. Просыпайся. Наумыч не приходил? Я на базу ездил, сейчас машина придет. Поставим тебя на лоток. Не холодно будет?

— Да не жарко, ну что сделаешь.

Стефка прошлась по подсобке, поискала бесхозную гирьку для Степки и засунула ее в сумку.

В магазин ввалился Роман. Стефка никак не могла понять, как он работает: то его не было месяц, то он тусовался каждый день с раннего утра до позднего вечера — по какой-то странной договоренности с начальством — на картошку и лук, по крайней мере, его никогда не ставили, зато весь хороший товар проходил через его руки.

— Шеф, сегодня пошлешь меня торговать? — спросил он у проскочившего мимо Лешки.

— Яблоки только будут.

Роман поморщился, его раскосые глаза превратились в две маленькие щелочки:

— На яблоках много не сделаешь. Ты бы взял апельсины, бананы, все бы довольны остались. Ну и ты, естественно…

— Ну нет на нашей базе, я же тебе их не выращу.

— Так подсуетись, так твою в задницу… Машину я взял. Теперь бабки нужны. На техремонт, на бензинчик, туда-сюда.

— Смотри, как бы твой лимузин государству не достался. Конфискуют, и все твои старания — вот здесь.

Дальше следовал красноречивый жест.

— Да что я — дурак? Я на папашу записал. У меня все на него записано, вплоть до рубашек.

— Ну ладно, автолюбитель, приходи завтра. Может, что придумаем.

— Придумай, придумай. А у твоей тачки, Лешка, какой движок?

Мужики заговорили о технических деталях. Стефке стало скучно, она растопырила ладонь и стала ее разглядывать.

— Ты что, занозу ищешь? — заинтересовался Лешка.

— Да нет, пытаюсь себе погадать.

— Ну-ну,— сказал Лешка, — давай-ка мне посмотри.

Он протянул руку, и Стефка осторожно коснулась запястья, разгладила кожу:

— Жизнь у тебя будет долгая, но полная всяких превратностей.

— Ну еще бы,— буркнул он,— на такой-то работе.

— Бугор Марса не особенно развит. А вот кольцо Венеры… Женщины тебя любят.

— Да что мне женщины. Ты мне одно скажи: посадят меня или нет.

Стефка засмеялась:

— Ну этого я не знаю.

— Ну-у, — разочарованно протянул он. — Гадалка называется. А самого главного не знаешь.

— Давай еще посмотрю… Черт тебя знает. Вообще вот в этом месте черта жизни у тебя прерывается. Так что все может быть.

Лешка задумчиво откинулся на спинку стула:

— Ты меня, прямо скажем, не порадовала. Ну и хрен с ним, у меня тоже все барахло на родителей записано.

И Роман протянул руку:

— А меня, меня посадят?

Она закрыла его ладонь, улыбнулась:

— Воровать меньше надо. Тогда не посадят.

— А по-моему, ты создан для лесозаготовок,— сказал Лешка,— вон какой здоровый уродился. Ты просто еще не понял, что это твое истинное предназначение. С покупателями — «ля-ля», а душа твоя по бревнам плачет, заливается.

Роман гневно расправил широкие рыхлые плечи:

— Начальник, хочешь тебя с собой заберу, чтоб не скучно было, а там я буду у тебя начальником.

— Так,— Лешка стукнул ребром ладони по столу,— а не пойти ли тебе, Роман Ахметович, за прилавок? У тебя сегодня рабочая смена, насколько я понимаю?

— Иди ты со своим прилавком, я вон пять пузырей водки взял, сейчас по пятнашке спущу — и без проблем, никакой ругани. Если только поторговать, чтобы квалификацию не потерять.

— Ребята, привет,— в дверь заглянула Людка из соседнего гастронома,— одолжите червонец. У нас сервелат финский продают. Хоть бы немного купить. Народ берет по три палки. А я из отпуска, в кошельке два рубля.

Лешка оживился, вытащил десятку:

— На, нищета. А нам-то что не принесла?

— Принесла! Там народ выставил свой контроль. Директор им накладные показывал. Всю колбасу в зал вытащили. Собирались к вам принести, да куда там! Такой кордон.

— Стефка, пока машина не пришла, сходи с Людой. Возьми пару палочек мне и Роману.

— Мне не надо,— испугался Роман,— я на нее глядеть не могу — на эту финскую дрянь. Обожрался ей — вот так.

Стефка с Людкой вышли на улицу.

— Скорей, скорей, Галина ругаться будет. Столько народу, а меня нет,— торопилась Людка.

Она была в одном халатике и в старых босоножках, которые надевала в магазине. Ее коротенькие ножки все время увязали в снегу, и она, в очередной раз вытащив из сугроба ногу, внимательно разглядывала колготки, которые привезла из отпуска — не порвала ли.

Гастроном был битком набит народом.

У входа стояла очередная партия покупателей, нетерпеливо ждущих своей очереди.

— Может, с запасного зайдем? — спросила Стефка. Людка махнула рукой:

— Там еще на Галину нарвемся.

Они пробрались к прилавку под подозрительными взглядами покупателей.

— Надя, взвесь мне…

— Вообще обнаглели, торгаши проклятые,— крикнули из очереди,— уже на глазах покупателей норовят себе товар захапать, да еще и дружков своих приводят. А ну отойди от прилавка.

— Мне прикажете в очередь встать, если я в этом магазине работаю?

— Нас не касается, где ты работаешь. А ну неси жалобную книгу, мы тебе покажем, как своих знакомых колбаской оделять. Это мы в очередях целыми днями стоим. А вам бы только воровать.

К Людке подскочил бодрый старичок с мясистыми дряблыми щеками, затряс какой-то книжицей:

— Я, ветеран, в очереди стою, а ты, молодая сучка, с собой хвост приводишь. Пошла отсюда,— он стал отпихивать ее от прилавка.

Ошарашенная Людка отвела его руку.

— Все видели? — закричали из очереди. — Она ветерана ударила. Мы сейчас милицию позовем.

— И жалобу напишем.

— Гнать таких надо. Видишь, как они обнаглели. Заворовались. Уважение к человеку потеряли.

Людку окончательно оттерли от прилавка. Она встала в уголок, заплакала.

— Ишь, крокодиловы слезы льет, — сказал кто-то насмешливо.

Стефка равнодушно оглядела толпу:

— Да ладно, брось, не реви, что, ты не знаешь, какой народ у нас, когда в очередях стоит?

— Ну где колбаса? — встретил ее нахмуренный Лешка.

— В магазине. Там скандал. Галина сказала, что на следующей неделе еще получат, тогда они нам принесут.

— На следующей неделе? Ты еще скажи, в следующем году. Ладно, я в 54-й позвоню, у них там тоже сервелат должен быть.

Через полчаса прибыл посыльный из 54-го с ящиком сервелата.

— Позвони Люде,— сказал Лешка, — скажи, что я оставил ей колбасу, пусть придет потом, заберет, когда у них эта помойка закончится.

— Леха, машина пришла, — крикнул Гриша-грузчик, уже успевший основательно залить шары. Дело, видимо, не обошлось без Романа, который торговал водкой.

— Не понял, ты что мне сообщаешь, чтоб я разгружать начал? — спросил Лешка, и тут же — шоферу: — Ты, шеф, не мог еще попозже приехать? К вечеру в самый раз было бы торговать.

Лешка вытащил из сейфа трояк.

— А то ты у меня один, — огрызнулся шофер, спокойно засовывая трешку в карман.

Грузчик Гриша, лениво матерясь, стоял в обнимку с ящиком яблок, стараясь не поставить его мимо телеги. Стефка наклонилась, чтобы выбрать себе весы. Одни из них были индивидуальные — Веры, она потрудилась, чтобы стрелки на них отставали граммов на 200 — кроме Веры на них никто не работал. Роман, Нина и другие продавцы предпочитали обвеши-

вать без топорной работы, более виртуозно — на нормальных весах, даже стрелка у них стояла ровно на нуле. Веру неделю назад повязали ребята из ОБХСС — и она, быстренько подписав у Наумыча заявление об уходе по собственному желанию, без отработки, забрала в РТО трудовую книжку, прежде чем отдел кадров, загруженный кипами бумаг, успел на этот инцидент отреагировать.

— Я затрахался один работать, — скрипел грузчик Гриша, — когда ты, Леха, мне напарников возьмешь?

— Чтоб ты сдох, — огрызнулся Лешка. — День близится к закату, ты за первый ящик держишься, а тебе работы много?

Грузчик Гриша молча засопел и стал еще медленнее таскать ящики. Стефка нацепила халат поверх куртки, забрала накладную и потащила весы на тележку.

Вот и ее традиционное место работы — пересечение двух улиц. Место, открытое всем ветрам. С одной стороны — люди, идущие с рынка, с другой — выходящие из метро. На морозе грузчик Гриша засуетился, мигом сгрузил ящики.

— Девушка, чем торговать будете?

— Яблочки, сорт «мечта покупателей», — выкрикнул грузчик Гриша в собравшийся народ.

Народ мигом выстроился в очередь.

Пока Стефка возилась с весами, устанавливая их на неровном месте, покупатели успели сдвинуть ящики; ковыряя бумагу между досок, они пытались разглядеть яблоки.

— Мне вот из этого ящика,— сообщила впередистоящая женщина.

Раздражение поднималось внутри знакомо, неотвратимо.

Кто знает, что больше всего раздражало, — ситуация или ее повторение? Этот неизменный круг, в котором все раскручивается по одним и тем же законам? Одно и то же мелькание перед глазами — фруктов, покупателей, разговоров.

Покупатель всегда прав. Кто придумал этот лозунг? В каких замкнутых кабинетах, кому первому он пришел в голову? Продавец не прав, потому что в той или иной ситуации по законам магического круга он должен взять свое,

надо только дождаться этого момента, закрывая глаза на все остальное.

— Мне вот из этого ящика, — сообщила женщина. Стефка пнула самый последний ящик:

— А из этого не желаете? Я сейчас буду все ящики перебирать, ворошить. Яблоки все одинаковые.

— Нет, не одинаковые. Вон там лучше,— запротестовала очередь.

Ящик ничем не отличался от других, но облюбованный покупателями, он становился для них все более желанным. Добровольцы из очереди вытащили его из груды ящиков, которая угрожающе покачивалась, казалось, что она вот-вот рухнет.

Стефка не чувствовала холода, механически забрасывая фрукты в чашку и шлеп — на весы. Нагнуться — разогнуться, нагнуться — разогнуться. Яблоки совершали все тот же неизменный круговорот внутри чашки, катились по круглому днищу.

Очередей Стефка не любила. С одной стороны, когда никого нет — мало приятного, стоишь — загораешь, да и устаешь от безделья куда больше. Но с другой стороны — стоило собраться кучке покупателей и стоило произойти небольшому конфликту, как цепная реакция происходила во всей очереди, начинали следить за каждым граммом.

А кому, как ни ей, было знать, что такое взвешивать до каждого грамма. Покупатель, выторговав свою честную копейку, уходил торжествующий — а ее копейки складывались в минус и образовывали недостачу.

Роман и Нина, например, редко разменивались на мелочевку, по граммам народ не обжимали, действовали с размахом — полкило туда, килограмм — сюда. Стефка по такому принципу работать не могла. Те, кто мог не заметить обмана, — люди, как правило, порядочные, их обвешивать не хотелось. А те, по кому руки чесались обвесить, перепроверяли вес раз по сто.

Чашка мелькала в Стефкиных быстрых руках, и народ, завороженный этим действием, не отрывал от нее взглядов. Сейчас спросят, почему тара не маркированная.

— Девушка, а сколько у вас чаша весит? — не замедлил раздаться вопрос.

— Двести пятьдесят.

— Ладно, брось, они все стандартные — по четыреста,— сказал мужчина в лохматой шапке.

— Вы их что, производите? — спросила Стефка, раздраженно высыпая яблоки, и водрузила пустую чашку на весы. Стрелка замерла на 275.

Специалист по таре не смутился:

— Значит, 30 грамм недовешиваешь.

— Во-первых, не тридцать, а во-вторых, где я вам найду яблоко размером в два сантиметра?

— Значит, денег меньше бери.

Очередь начинала сплачиваться, с подозрительностью глядя на Стефку.

— Ладно, — закричал кто-то, — что к девчонке привязались? А ты, мужик, дубленку нацепил, а из-за трех копеек глотку дерешь. Как жена тебя терпит? Иди, не задерживайся.

— Я не из-за трех копеек, а из-за принципа, — оскорбился тот и поправил сползающие очки.

— Иди, иди, принципиальный ты наш…

Круг покупателей мгновенно распался, каждый загалдел о своем, потом все разом стихли.

Время завертелось, закружилось спиралью, выбрасывая то колючки темноты, то всплески снега. Нагнуться — разогнуться, нагнуться — разогнуться.

Ящики таяли на глазах. Яблок осталось немного — килограмм в Стефкиной сумке, килограмм — в ящике, нестандартные. Стефка и их закинула в сумку, все равно никто не возьмет, ну а Лешка в отходы не спишет, скажет, торговать надо лучше.

Любители выбирать товар часто задавали ей вопрос, по их мнению, каверзный.

— А вы бы себе такое взяли?

И когда она отвечала, что постоянно таскает домой полугнилые фрукты, которые не списывают, а покупатель не бе-

рет, ей в ответ понимающе улыбались, мол, свистеть не мешки ворочать.

Лешка сидел за столом, отгадывал кроссворд. Напротив него — Степка, закинув ногу на ногу, важно объяснял:

— Монолог — это фильм Авербаха. 7 букв — правильно?

— Ишь ты,— уважительно покрутил головой Лешка,— и правда, семь.

В зале раздался пронзительный женский голос:

— Какая наглость. Где ваш директор?

Лешка даже глазом не моргнул, продолжал вертеть газетку с кроссвордом, но женщина, преодолев все препятствия, ворвалась в кабинет:

— Кто директор?

Лешка меланхолически грыз кончик карандаша:

— Директора нет. Я — заведующий.

— Что за безобразие у вас там творится?!

— Что случилось?

— Ваш продавец на улице как хочет, так и обдуривает народ. Я его просила пять килограмм, а он взвесил чуть больше трех.

Лешка нехотя оторвался от газетки:

— Разберемся. Стефка, считай пока деньги…

Степка совсем развалился на стуле:

— Это у вас там какой-то татарин работает. Красиво работает,— сказал он восхищенно. — Пока я смотрел, он сделал рублей 30. У тебя такого, поди, и за неделю не наберется? Вес чашки не считает, и хоть бы слово кто до этой бабы сказал.

— Ты за картошкой пришел?

Степка приподнял большую хозяйственную сумку.

— Я пока деньги сосчитаю, а ты вон туда лезь, набирай.

Стефка вытащила из кармана халата скомканные бумажки, стала сортировать их в кучки.

Вскоре вернулся Лешка. Рядом с ним, как верный ординарец, семенила все та же женщина.

— Работу нужно проводить с продавцами, — наставительно говорила она.

— Проведем, — охотно соглашался Лешка, — выговор объявим с занесением в личное дело, собрание устроим, премии лишим, зарплату срежем.

— Правильно, — кивала женщина, — так и нужно. А то совсем распустились. Для кого ж тогда перестройка? Замечательно, что в нашем магазине такой приятный заведующий. Здоровья вам, всяких благ.

— Угу, не помешало бы, — соглашался Лешка.

— Ну хорошо, — женщина протянула ему руку, энергично пожала вялую ладонь Лешки, — сами понимаете, нельзя держать таких людей в торговле, тем более теперь, когда перестройка.

— Само собой,— опять соглашался Лешка, — для нас самое главное, чтобы вы, наши дорогие покупатели, были довольны. Если что — обращайтесь, мы всегда отреагируем.

Женщина ушла, весьма довольная, какой и должна была быть покупательница, по Лешкиным словам.

— Дорогие покупатели, — пробормотал Лешка, — чтоб вам всем пусто было, чтоб ваше блядское племя…

Стефка меланхолически продолжала считать деньги.

— Что там такое? — спросила она.

— Все нормально. Ну обвесил эту корову Роман, что, от нее убудет? Сосчитала?

— Да. 387.

Лешка пересчитал деньги, пододвинул к ней оставшиеся рубли:

— Мировой брат у тебя.

— Да? — удивилась она, глядя на суетящегося у картошки брата. — Что же в нем такого мирового?

— Да вообще. Ты знаешь, мы с ним договорились, что он у нас грузчиком поработает.

— Что-то я сомневаюсь, что такая работа моему братцу по душе.

Степка в этот момент втащил в кабинет сумку с картошкой:

— Это ты обо мне, что ли? Мускулы буду развивать.

— Мускулы надо было в детстве развивать.

— Гм… Ты идешь домой? Тебя ждать?

— Нет, у меня дела еще.

Никаких особых дел у Стефки не было, но ей почему-то не хотелось идти домой с братом.

Она подождала, пока Степка уйдет, и вышла из магазина. Ее догнал Лешка, у которого под мышкой была завернутая в рваную газету колбаса. Он взял у Стефки сумку с яблоками:

— Тебе куда? Я сейчас тачку возьму, тебя по пути закину.

Машины шли мимо, не останавливаясь, наконец одна притормозила, и Лешка, не слушая шофера, стал усаживать Стефку. В такси он вначале молча смотрел в окно, тихонько посвистывая, потом неожиданно сказал:

— Шеф, вот здесь стой,— обернулся к Стефке, — мне надо к приятелю зайти. Через пять минут вернусь.

— Ладно, только быстрей.

Шофер вначале почитал газету, затем вышел из машины, обошел ее, потопал по снегу и заглянул в окошечко:

— Эй, молодая, долго еще ждать? Тебя, случаем, кавалер не бросил?

Стефка, вздохнув, вышла из машины, вытащила свою сумку с яблоками и Лешкину колбасу, расплатилась с шофером и села на скамейку. Идти никуда не хотелось, да и таскаться с этой дурацкой колбасой — маленькое удовольствие.

И вообще непонятно, почему она не поехала домой с братом. Опять бы с «балаганами» начал привязываться или еще с чем-нибудь? Степка еще пацан, все ищет куда приложить свою склонность к авантюризму. Для него торговля — это лазейка в чудесный мир, где все есть, где ноу проблемс. А потаскает грязные тяжелые ящики, получит тычки от заведующих, выслушает ругань продавцов — и будет свои слюни утирать, слезки смахивать. И ей-то давно пора сматываться из магазина. И самой возвращаться в толпу покупателей, а там глядишь, тоже будет просить покрупнее, покраснее, покруглее и ругать продавцов за их лень и недовесы. И лица людей тогда снова станут лицами, а не бесформенными рылами, которые

норовят оскорбить и унизить за просто так. И покупатели, наверное, не так уж виноваты, в них бойцовские качества развила сама торговля. И нечего тут напрягаться, ища виноватых. Все хороши. Стефка раскрыла сумку, вытащила припасенную для Степки гирьку и выбросила ее в кусты. Пусть все летит в тартарары!

Прошло минут двадцать, прежде чем вышел Лешка, он вышел из подъезда отнюдь не со страшной скоростью.

— А где тачка?

— Тебя поехала искать.

— Ну ладно, пойдем к другу, чайку попьем.

— Что-то я не вижу в тебе большого раскаяния.

— А-а, — равнодушно ответил он, — извини, задержался немного.

Они поднялись наверх. Им долго не открывали, наконец дверь распахнулась, на пороге стоял высокий парень в красных шортах и расстегнутой рубахе.

— Я думал, ты уже домой уехал, — пробормотал он, застегивая пуговицы, — спать собирался ложиться.

— Сон откладывается, — ответил Лешка, бесцеремонно его отталкивая.

В квартире царил жестокий беспорядок, повсюду валялись кроссовки «адидас» всевозможных размеров.

— Он тренером работает, — объяснил Лешка. — Ну, Виктор, ставь чай.

— Чего его ставить, он еще не остыл.

Чашки были пузатые, старинные, с тонкими трещинками по бокам и фигурными легкомысленными ручками.

— Да, — спохватился Лешка, — а что это у тебя везде кроссовки валяются?

Виктор махнул рукой:

— Со склада взял. Уходить надо с тренерской работы или за кордон сматывать по договору. Копаются, копаются в нашей документации. То костюм раньше на месяц получил, то в смету лишнего человека вписал, то с соревнований уехал на день раньше. А как я должен питание команды обеспечивать

с их сметами, мои ребятки жрут за троих. Вот и впишешь лишнего человека, не себе же.

— Лучше всего у нас, — предположил Лешка. — Магазины перешли на хозрасчет, очень интересно — повальное увлечение хозрасчетом, когда базы для этого никакой нет. По крайней мере, у нас. В прошлом месяце я получил двадцать рублей расчета, жена была в восторге. Что я, спрашивается, должен продавать, если в магазин завозят одну свеклу да лук? Как бы хорошо их ни продавали, как бы лучезарно ни улыбались покупателям, план на этом не сделаешь.

— Да ладно, Лешка, ты ведь лентяй, я тебя знаю, сам, поди, никуда не ездил, — улыбнулся Виктор.

— Ну да, Наумыч не вылезал с базы, а я не вылезал из РТО. А с отходами знаешь что придумали — душа радуется. В качестве эксперимента теперь отвозим отходы на базу, чтобы директор, не дай бог, себе в карман лишнюю десятку не положил. А расходы транспортные государство не интересуют, пусть убытки будут, лишь бы директор с отходов не разбогател. Как свиньи, копаемся в этом дерьме с лоханками помоев.

— Вот и Ельцин вас, овощников, хотел хорошо потрясти.

— Тряси, не тряси, торговля — государство в государстве. Туда с чужим уставом не зайдешь. Пока товар с базы заберешь — там пару десяток оставишь. А сам не заберешь — привезут с накладной, где товара указано в два раза больше, чем на самом деле. Перевешивать будешь — шофер ждать не станет, если ему не поставишь. Ну а перевесишь — что, обратно на базу повезешь? В торговле коммерция нужна, а не пускание слюны перед ублюдочным покупателем.

— Речь ты заготовил довольно нудную, — сказал Виктор, — ты лучше скажи, как девушку зовут.

— Стефания.

Виктор улыбнулся и громко спросил у нее, как у глухонемой:

— Откуда у вас такое странное имя?

— У меня бабушка полячка была, в ее честь и назвали.

— А вы, Стефания, зачем в торговлю пошли?

Она пожала плечами:

— С детских лет, конечно, не мечтала. Работала в овощном художником-оформителем, а потом все продавцы дружно заболели гриппом, и заведующая попросила меня за прилавком постоять. Вначале понравилось. Люди улыбаются, спасибо говорят. Я все получше покупателям выбирала. Зав сказала, будешь так всем угождать, сама в прогаре останешься. От всего товара я приносила половину отхода. Заведующая посмотрела на меня, поругалась, да и устроила мне недостачу в 340 рублей. Я была лицо не материально ответственное, могла бы и не платить, но я заняла деньги, отдала ей, перешла в другой магазин, опять за прилавок, чтоб долг побыстрей отработать. Да так все и работаю. Уходить надо с этой собачьей работы. Себя человеком не чувствуешь и других за людей не считаешь.

Лешка поковырял скатерть на столе:

— Торговля — как семечки, думаешь, бросить бы надо, а вот затягивает что-то. Не деньги, иногда их и не видишь, недостача за недостачей. А черт знает что.

…Домой Стефка вернулась как будто специально для того, чтобы снять трубку с неумолкающего телефона. Было около двух часов ночи.

— Алло.

— Хи-хи, — трубку положили.

Тут же в кухню зашел сонный Степка с размазанной тушью под глазами:

— Мне, что ли, звонили?

— А кому еще в такое время могут звонить?

— Как ты считаешь, идти мне в ваш магазин работать?

— Считаю, что тебе там нечего делать.

— Это почему такое?

— Занимайся своим кино и не суй нос куда не следует.

— А ты знаешь, мне интересно посмотреть, как там у вас это все делается. Леша ваш — тупой как валенок, считать, наверное, только до десяти умеет.

— До одиннадцати.

— Ну вот, почти угадал. Меня там должны на руках носить. Уж я-то со всеми остальными магазинами перезнакомлюсь.

— Было бы лучше, если б ты сейчас пошел знакомиться со своей кроватью.

— Вот ты — торгашка, а жить не умеешь. Прямо смех. Где твои знакомые? Что ты в дом приносишь? Кроме плохого настроения? Жить надо так, будто играешь в интересную игру, не надо ничего воспринимать всерьез.

Снова зазвонил телефон.

— Меня, меня, — Степка прыгнул к телефону, — я на проводе.

Затем пожал плечами:

— Это тебя.

— Стефка, не спишь еще? — спросили в трубке.

— На ходу засыпать не привыкла, — пробурчала она, узнав Виктора.

— Все-таки ты зря у меня не осталась. Я вот теперь уснуть не могу. Может, вернешься? Ты завтра работаешь?

— Работаю.

— Хочешь, я с Лешкой поговорю, чтоб он тебе смену поставил?

— Не хочу.

— А твоему брату, кстати, кроссовки не нужны?

— В ботинках походит.

— Не понял, я что, некстати?

— Звони днем. Это мой брат считает, что жизнь ночью продолжается. А я спать хочу.

— Ну пока.

…Этот рабочий день начался удачно. Удачней не бывает. За неделю освоившийся в магазине Степка отвел в сторону ее:

— Слушай, ты грузчикам до меня по рублю платила за то, что они тебя на лоток ставили, а потом забирали?

— Ну платила.

— Так в чем же дело? — Степка поиграл пальцами руки.— Если я твой брат, мне и платить не надо? Традиции надо уважать. Гони рублевку.

— Если тебе деньги нужны, так и скажи, я что, тебе не дам?

— Деньги мне, может, и не нужны, но я же сказал: традиция — есть традиция.

— Ну это ты облезешь, прежде чем дождешься. Добавки к зарплате будешь получать из пенсионного фонда. По истечении возраста, конечно.

— Так, — протянул Степка, — ноль-один в мою пользу.

— А где обещанные «балаганы»?

— Отстань, об этом можно и потом поговорить.

— Я так понял, что и здесь прокол,— усмехнулся Степка.— Два-ноль, опять же в мою пользу. Гирька-то тебе нужна?

— Сказала, отстань, я ее уже выбросила. Ею теперь дворник будет количество мусора взвешивать.

— Ну и дура. Так, может, ты хоть кассеты достанешь?

— А японский кассетник не желаешь?

— Так — все понял.

С этого момента Степка с ней не разговаривал, молча загрузил ящики, так же молча их сгрузил и укатил пустую тележку.

Стефка нервничала, ругалась с покупателями, и после торговли недостаче в 60 рублей ничуть не удивилась. Во-первых, она могла сама где-то наколоться, потому что работала в дурном настроении, во-вторых, сегодня сменой заправлял не Лешка, а новый заведующий, Валера, у которого продавцы один за другим не отчитывались.

Стефка пересчитывала в энный раз деньги, надеясь, что недостающие 60 рублей появятся чудесным образом, но сумма была неизменной. Повсюду на столе валялись синенькие бумажки с цветочками, на которых было написано: «Благодарим за покупку», эти бумажки полагалось вручать покупателям, но их, как получили из торга, так и разбросали по всей подсобке, непонятно, кого теперь благодарили за покупку, то ли клиентов Романа, которые брали у него водку за пятнад-

цать рублей, то ли многочисленных знакомых, которые отоваривались в подсобке, копаясь в ящиках, некоторые бумажки виднелись и в бочке для отходов, среди гнилья, пускающего пенистый сок.

Степка сидел неподалеку от столика, на котором она считала деньги, и внимания на нее не обращал. К нему все время приходили друзья. Вот и в этот раз рядом с ним стоял чистенький, румяный мальчик-куколка, с внешностью актера-любовника.

— Ну не скажи, — говорил Степка, — роман Кизи более тяжеловесен, натуралистичен, и в этой натуралистичности теряется символика. А у Формана все отягчающие детали убраны, у него — оголенная символика.

Мальчик равнодушно кивал головой, затем перебил его:

— Извини, а шпроты у вас есть?

— Нет, — ответил Степка, — это в наш магазин не поступает, так вот, а оператор Хаскелл Уэкслер…

В магазин зашел Лешка. Стефка обрадованно кинулась к нему:

— Лешка, у меня недостача. 60 рублей.

— Разберемся, — сказал он, на ходу снимая черную куртку. — Где записи Валеры?

Мальчик-куколка заторопился, поднял со стула раздувшуюся сумку, и Степка пытался еще что-то сказать ему вослед.

Лешка тусовался по подсобке, заглядывая во все двери, за ним бегал обеспокоенный Валера:

— Напрасно ты ищешь, ничего же нет, — повторял он. Лешка прихватил за воротник проходившего мимо Степку:

— Куда ты, гаденыш, спрятал два Стефкины ящика?

Степка, оскорбленный таким нелепым обвинением, отвернулся.

— А! — наконец раздался торжествующий Лешкин голос.— Вот они.

— Это из другой партии,— бубнил Валера.

— Не ля-ля мне мозги. У нас такая только одна была. Стефка, иди посмотри, как славно Валера и твой братик припрятали парочку твоих ящиков яблок. И когда успели? Вам, ребята, надо иллюзионистами работать.

— Да не ори ты, — просил Валера. — Сейчас разберемся.

— Не ори, не ори! — Лешка, весь красный, выскочил из подсобки. — Где этот паршивец? — от всей души он пнул Степку.

— Где ваш директор? — раздалось из зала. — Директор где?!

Бессонница дворника Нечаева

Ночная тишина наполняла комнату, как дымовая завеса, застывала под потолком и кругами расходилась книзу, густо клубясь во всех углах, огибала только висевшие на стене беленькие листочки. Это были записки, как попало прикрепленные к обоям: какие пришпилены кнопкой, какие — прихвачены за потрепанный уголок столярным клеем или попросту хлебным мякишем. От них исходили вялые импульсы испарившегося со временем гнева. «Дворник Нечаев, почему не выходите на работу?», «Дворник Нечаев, когда Вас увидим?», «Дворник Нечаев, мы Вас уволим!» и совсем уж зловеще звучало «Товарищ Нечаев, зайдите в ЖЭК к начальнику», где официальное «товарищ» превратилось в угрожающее слово, недалеко стоящее по семантике от «гражданина». Записки были далеко не все, многие из них, смятые неторопливой рукой, отправились в мусорное ведро. Но, видимо, велико было уважение дворника Нечаева к начальству, раз остальные нашли себе пристанище у его изголовья.

Дворник Нечаев не спал, он тихо лежал на спине, положив под голову руки. Нельзя сказать, что он плевал в потолок, потому что, во-первых, потолок был высоко, а во-вторых, совершенно невозможно представить, чтобы ночное безмолвие прорезал сочный звук плевка. В тишину прорвался только металлический черпак улицы и вылил в серую темноту резкий визг проехавшего автомобиля, и опять все смолкло.

Дворник Нечаев и рад бы был выйти на работу, но никак не мог проснуться утром, он уж и будильник ставил в медный таз, по слухам, это было верное средство, может быть, и верное, но только не для него.

Даже заведенное с вечера радио, заведенное так старательно, что если бы его ручка покоилась на пружине, пружина давно бы лопнула, даже оно только на миг приоткрывало глаза дворника Нечаева торжественными звуками гимна, но не могло довести до сознания мысль о необходимости проснуться. Даже если бы утром дворника Нечаева ожидала гильотина, это никак не повредило бы его сну. Зато вечером, медленно перетекающим в непременную ночь, дворнику Нечаеву было никак не до сна, именно от беспокойства, что утром не встанет. Жаль было, что никто не мог оценить этого ночного вынужденного бодрствования, потому что оно, по существу, было посвящено мыслям о службе, а значит, вполне могло потягаться с рабочим временем. Вот если бы они жили до революции, в обязанность дворника входило бы запирать ворота.

Дворник Нечаев представил, как один из задержавшихся жильцов топчется в нерешительности, поджидая его. А он, позвякивая внушительной связкой ключей, гулко отпечатывает шаг командора, неся впереди себя треугольный свет фонарика, спускается по кривой темной лестнице, пропахшей кошками и сплетнями прислуги, впускает озябшего уже, заискивающе улыбающегося господина, и тот сует в его помятую, теплую со сна ладонь хрустящую рублевку.

Так бы вот совместилось приятное с полезным. Приятное — это рублевка, а полезное — радость подгулявшего жильца, наконец попавшего домой, а впрочем, наоборот,— приятное — это превосходство, пусть минутное, над расфранченным господином, а полезное — рублевка.

Дворник Нечаев представил себя толстым и важным, с замечательной метлой, раскормленной крепкими прутиками. А жена у него — гувернантка Лида, в белом кружевном фартучке, так похожем на школьный (тем более, что настоящая Лида действительно ходит в подобном фартуке и не помышляет о той головокружительной карьере, которую готовит ей дворник Нечаев в своих мечтах), в кокошнике, она бы стелила ему крахмальные тугие простыни, где каждая складочка остра как бритвенное лезвие.

А толстым и важным он был бы благодаря постоянным поощрительным рублевкам жильцов. Это вам не советская власть, где некому о дворнике позаботиться, а тетя Катя с первого этажа и вовсе бегает за ним и просит подобрать детскую обувку, если кто выбросит, потому что подрастает младшенькая и ей необходимо что-то на ноги, иначе поздней осенью на земле будут отпечатываться босые ступни, и растревоженные жильцы станут радоваться появлению снежного человека, верней, появлению потомства снежного человека, так как у тети Катиной пигалицы ножка маленькая и никак не тянет на двухметровый рост.

Дворнику Нечаеву понравилась мысль, что он толстый и важный, и радостно подхихикивая, он стал на глазах раздуваться, исчезали варикозные язвы, ноги выплывали из сети вен, становились гладкими и мягкими, и все тело, в попытке обрести важность, разрасталось, увеличивалось в объеме, так что дворник Нечаев походил скорее на больного водянкой, чем на сытого и довольного человека, но он не мог этого видеть и продолжал надуваться воздушным шариком, словно кто-то протянул к его туловищу вытянутые губы и, не переводя дыхания, заполнял воздухом.

Откуда-то с верхних этажей пролетела вниз бутылка, звонко разлетевшись под окнами, и дворник Нечаев, мгновенно приняв свои прежние параметры, крепко зажмурился, представив, как неровные края осколков порежут завтра руку, когда он станет их убирать. Мгновенная боль скрутила пальцы, и капельки крови выступили на ладони. По полу соседней квартиры запрыгал орангутанг — неизвестно, где его взяли, из какого зоопарка выписали. А может, привезли из жаркой Африки. «Не ходите, дети, в Африку гулять…»

Дворник Нечаев и не ходил в Африку. А была б его воля, не пускал бы туда и дворовых ребятишек.

Завтра он пойдет убирать улицу. Эта мысль приносила ему удовольствие. Он представил корявое туловище метлы с многочисленными выступами. Правда, ствол давным-давно уже отполировался под его пальцами и лучами солнца.

Служба его была очерчена квадратом двора, а за этими пределами начинался тот неведомый мир, куда не хотелось

выходить. И по мере того, как дворник Нечаев удалялся от спасительного квадрата, он ощущал неуверенность и беспокойство. Тогда притяжение скромной геометрической фигуры все возрастало и возвращало его, волнующегося, в родные пенаты, где он был хозяином, где все просто и ясно.

Серое облако пыли выплывало с дороги, там царил неутомимый поток движения — грузовики, автобусы, автомобили из последних сил соблюдали очередность и пытались обогнать друг друга, прокатиться по крыше какой-нибудь зазевавшейся машины.

И только здесь, во дворе, около невозмутимых деревьев, мир казался ненастоящим, статичным, где ничего не происходит, здесь можно просто жить и не надо никуда стремиться и спорить с пространством. Здесь все делалось само по себе, и люди, вылезающие из своих жалких квартир, были лишены отличий.

Они были подобны двигающимся мишеням — ты стреляешь в них, они умирают, но зато появляются новые, такие же одинаковые — ни за что не различишь их. Словно их долго и упорно подбирали и всех произвели в шпионы, чтобы кто-то неведомый ни за что не догадался, зачем они живут и какова их истинная цель. Все они применяли одну и ту же маскировку — бесцельность существования, и эту дурную энергию дворнику Нечаеву хотелось запихнуть в мешок и вместе с мусором забросить на свалку.

Иногда он надевал очки, и резкость окружающих вещей встречала его острыми углами. Даже ветер в этот момент начинал дуть сильнее, как будто хотел стать приправой к резкости очертаний. Не в силах примириться с отчетливостью изображения, дворник Нечаев снова снимал стекляшки — и словно веселый ливень проносился по воздуху — все было размыто, а мягкость и округлость предметов приятно радовала глаз.

Итак, завтра он снова пойдет убирать улицу.

Выжженная солнцем детская площадка ждала своих мучителей, которые прибегут утром с коленками, вымазанными бриллиантовой зеленью, а попросту — зеленкой, ядовито светящейся на золотистых голых ножках, между нежным пушком, застывшим на тоненьких лодыжках.

Дети бегали по площадке, растаскивая по двору ведерки песка, которые потом отыскивались то там, то сям, уже без песка, с разинутой железной пастью, дышащей чернотой и спелой ржавчиной, а высыпанный песок расплывался на сером пятне асфальта, пока шаги прохожих не превращали его в тысячи мелких частиц. Дворник Нечаев подбирал пустые ведерки и складывал в песочницу, чтобы потом усталые, приходящие с работы мамаши унесли эти опорожненные посудины.

Неужели и этим детям, веселым и равнодушным к своему добру, строящим замки там, где они были обречены на разрушение,— неужели этим детям со временем предстояло превратиться в усталых, выжатых возрастом и семейными неурядицами мамаш, которые отличались громогласностью, стоптанными туфлями и пожухлыми шерстяными кофточками со смешными кружевами? Или в мужей этих мамаш, лоснящихся от пива и беспечности, с двойными подбородками и серыми щетинистыми скулами?

Дворник Нечаев плакал в своей одинокой постели и жалел этих детей, которых никто и никогда не пустит гулять в Африку.

В этот момент он жалел всех, знакомых и незнакомых, забытых, неузнанных, и жалость эта превращалась в тяжелую плюшевую портьеру, которая оборачивалась вокруг него все больше и больше — на первый ряд, на второй, на третий, на десятый, на двадцатый. Его уже не было видно из-за этой громады витков, и тяжелый вздох был прекрасно замаскирован в плюшевой пыли.

Поэтому и выходит он со своей старой подругой метлой во двор, чтобы жалость эта улетучилась, отпустила на минутку, завороженная механическими движениями его рук.

Он выйдет, может быть, не завтра, а послезавтра, когда пик записок пройдет. Пусть они бросают, эти грустные мамаши и их неутомимые мужья, пусть бросают на землю окурки, презервативы, конверты, газеты, обертки, бутылки, гаечные ключи, рваные пакеты и рыбьи скелетики.

Пусть бросают, дворник Нечаев уберет и будет верить, что с мусором от этих людей уйдут усталость, грязь — и они станут чище, лучше, светлее. Поэтому он и бегает так рьяно по

двору, с радостью заглядывая в сморщенные лица, с глухим возгласом кидаясь к очередной брошенной вещи.

Он не скажет им ни слова в укор — стоит ли это делать, если звук его голоса только ожесточит их? Они не признают дворника Нечаева хозяином ни на этой территории, ни на какой другой. Его сгорбленная фигура кажется им одним из отростков ветвистых деревьев, а пляшущая по земле метла напоминает вышедшую на прогулку бабу-ягу. Но ему все равно, какие ассоциации вызовет он у жильцов этих домов.

С открытым мешком, как Дед Мороз, только «Дед Мороз наоборот» — тот вытаскивает подарки, а он собирает их — дворник Нечаев идет вдоль подъездов и шуршит грязной бумагой. Когда-нибудь придет зима и поможет ему в этом благородном деле, заштрихует все грехи человеческие, все слабости, все несчастья. А если появится новый мусор — то и он утонет в снегу, оставив на поверхности ноздреватые черные дыры.

Дворник Нечаев засыпал. Рассеивалась чернота тишины, перестал прыгать орангутанг, напоследок просунув в потолок дворника Нечаева лохматую отчаянную морду. За ним высунулись другие твари — с копытцами, свиными рылами и аккуратными рожками — но и они, посверкав глазами, погоготав, успокоились и исчезли.

Засыпал город, гася, словно свечи, окна квартир. Ночь искрилась серебристым газом облегчения. Спала гувернантка Лида, так и не раскрывшая перед экзаменом учебника. Спали работники ЖЭКа, стараясь не растерять своей деловитости.

И только никак не мог заснуть портрет в траурной рамке, который был заботливо спрятан от всех глаз, посторонних и непосторонних. Тот портрет, который появился в те далекие времена, когда дворник Нечаев был старшим научным сотрудником в НИИ металлов и сплавов, когда не угасала от инфаркта в больнице его жена и когда двадцатилетний мальчик в расстегнутой от жары гимнастерке, высунув от старательности кончик языка, красиво выписывал на обороте этой фотографии:

«Маме и папе. Привет из Афгана».

О СВЕТЛАНЕ ТОМСКИХ

1975–1995

Литература и искусство

Алые паруса юности

Литературно-творческому объединению при челябинском дворце пионеров — четверть века

Помню ноябрьский заснеженный вечер 1951 года. Я спешила в Дом пионеров и немного волновалась: как-то пройдет моя первая встреча с участниками литературно-творческого кружка? Большинство ребят не представляют, чем они будут заниматься. Но были и такие, которые «хотели стать поэтами». И первым из них, можно сказать «зачинщиком» организации кружка, был Эдик Иванов. Это он не раз приходил к директору Дома пионеров В. И. Кучмижак и настойчиво интересовался, будет ли такой кружок и когда начало занятий.

И вот с того вечера прошло 25 лет.

Эдик не стал поэтом. Он инженер, работает в Миассе. Но до сих пор не забыл товарищей по кружку, наши читки и споры. Приезжая по делам в Челябинск, он звонит мне, расспрашивает обо всех, «грозится» прийти ко мне со своей прозой.

Давно уже Дом пионеров стал называться Дворцом, а, наш кружок — литературно-творческим объединением «Алые паруса». И почти забыто время, когда мы, за неимением комнаты, занимались подчас на широкой площадке лестницы старинного купеческого магазина, где сейчас размещается картинная галерея.

Более 200 ребят прошло через кружок за эти годы. Одни сразу же «отсеивались», спасовав перед трудностями или убедившись в отсутствии способностей.

Другие занимались по пять—десять лет. Они помнят о кружке, о товарищах, заглядывают на занятия и сейчас.

Многим кружок помог избрать путь журналиста. У Оли Балакиной вышла первая книжечка лирических стихов «Грань малахита» в московском издательстве «Современник». Училась Оля в третьем классе, когда пришла к нам в «Алые паруса». Забавная девчушка с тоненькими косичками, она уже тогда умела сказать образно о том, что видела вокруг себя. И это осталось. Это помогает ей писать теплые лирические стихи.

Челябинским ребятам знакома книжка-ширмочка «Обновка» нашего бывшего кружковца Аркадия Борченко. Ушел в науку наш Кирилл Шишов, горячо любящий поэзию, пропагандирующий ее. Осталось с ним на всю жизнь то, что унес он с собой из детства. Очерки, живые, яркие миниатюры, рассказы кандидата технических наук Кирилла Шишова челябинцы встречают на страницах газет, журнала «Урал» и сборника «Каменный пояс». А скоро на прилавках книжных магазинов появится сборник его рассказов и повестей, выходящий в издательстве «Современник».

За 25 лет много было выступлений в печати, по радио, в школах, библиотеках, в пионерских лагерях. В Южно-Уральском книжном издательстве выпущено три сборника детского творчества (они хорошо знакомы взрослым и детям Челябинска и области) — «Искры золотые пионерского костра» (1962 г.), «Золотинки», (1968 г.), «Алые поля» (1973 г.).

Не все печатаются, не все заявляют о себе в литературе, но многие из тех, кто когда-то, смущаясь и робея, приходил в «Алые паруса», пишут, как они говорят, «для себя». Они остаются влюбленными в поэзию, в литературу, понимают красоту поэтического слова.

Все это не может не радовать.

Вот почему, как и 25 лет назад, я спешу по воскресеньям но Дворец пионеров. Там, знаю, ждут меня дорогие мои мальчишки и девчонки. Вон в дверях уже мелькает непоседливая Гуля Хафизова. Интересно, что она принесла сегодня? Более спокойно ожидает Сережа Загребин. Старшие о чем-то спо-

рят. Возможно, Виталий Моисеенко опять принес пародию на кого-нибудь. Любит он посмеяться, а у самого— серьезный вид. У окна в одиночестве склонился над тетрадью наш лирик Дима Бронский. Боря Ерохин **разговаривает со Светой Томских о какой-то книге**. Младшие ребята осаждают Леню Туфленкова. Наверное, просят рассказать сказку. О чем-то шепчутся Наташа Шалыгина, Ира Семутина и Лена Григорьева. Может быть, Наташа опять написала веселый рассказ? Лена Лапидус беседует с сестрами Дергачевыми. Давно она не была: болела. Обещала написать стихи о Челябинске. Выполнила или нет свое обещание? А может быть, что-нибудь вновь написала на историческую тему? Или перевод с английского?

— А ну, ребята, тихо! Начинаем, — басовито перекрывает говор товарищей Эдик Зырянов.

И в комнате воцаряется тишина. Слава Шмыров читает стихи, посвященные Пушкину. Целый цикл задумал Слава. Интересно, но еще сыровато, надо поработать. Дима Вронский, как я и предполагала, читает лирические стихи.

А потом Галина Владимировна Харина, бывшая ученица «Алых парусов», рассказывает о творчестве Сергея Чекмарева, поэта-комсомольца 30-х годов. Это тоже нужно. И о стихосложении надо поговорить.

И так — каждое занятие. Всегда что-то новое, интересное, какое-то открытие. А в среду идут ребята с Галиной Владимировной в одну из школ, куда пригласили юных поэтов любители поэзии. Очень хотят школьники послушать стихи и сказки своих сверстников. Каждая удачная строчка радует, каждое хорошее стихотворение — праздник. Значит, будут полниться ветром алые паруса нашей бригантины, унося ее в мир прекрасного, в мир поэзии.

***Лидия* ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ**

(Челябинский рабочий. — 1975. — № 280. — 28 ноября. — С. 3)

Долгие незабываемые годы

Двадцать пять лет мне знакомы тропинки, бегущие к Дворцу пионеров.

Каждое воскресенье я спешу сюда, чтобы встретиться с моими «парусятами». Так в шутку называю я ребят из «Алых парусов». И жду, чем-то они меня порадуют! Потому что, действительно, каждое удачное стихотворение или сказка, а иногда даже одна строчка для меня — радость.

Сюда когда-то привели ко мне маленькую третьеклассницу Олю Балакину. Забавная девчушка с косичками стала поэтессой. У нее вышла первая книжка стихов «Грань малахита».

Здесь же брошюра «Первая русская революция в американской и английской историографии». Фамилия одного из авторов тоже знакома — Павел Зырянов. Наш Павлик, худенький, болезненный мальчик в прошлом и кандидат исторических наук в настоящем. Когда-то мне казалось, что Павлик будет веселым сказочником.

Вот и Леня Доброхотов не стал поэтом. Но разве так уж плохо то, что его интересуют теперь вопросы философии!

А, может быть, — как знать! — когда-нибудь они и вернутся в художественную литературу, как случилось с нашим Кирой Шишовым, кандидатом технических наук. Все чаще и чаще выступает он в печати. И скоро к моей коллекции книг прибавится еще одна — сборник рассказов и повестей Шишова.

Мне хочется верить, что здесь же когда-нибудь найдут почетное место сборники стихов Аси Горской и Аркадия Борченко, Лилии и Юрия Пейсаховых, Сергея Невежина. Все они, наши бывшие кружковцы, помнят «Алые паруса», охотно приходят на ежегодные встречи, а иногда и просто так заглядывают в нашу «кают-компанию». Немало радости доставляет это сегодняшним участникам «Алых парусов». Ведь им интересно посмотреть на тех бывших мальчишек и девчонок, которые вот также, как они, приходили на занятия, терпеливо переписывали, переделывали свои работы.

Зорко присматриваются, прислушиваются к окружающему самые юные — Сережа Загребин и Гуля Хафизова. С детской непосредственностью они пишут об увиденном. И мне так хочется, чтобы эта непосредственность сохранилась надолго.

Радует меня увлеченность формой сказки восьмиклассника Лени Туфленкова. Недаром с таким восхищением слушают его сказки другие ребята. Лена Лапидус тянется к истории, литературе прошлого.

Остроумно и весело Наташа Шалыгина рассказывает о ребятах. А вот Иру Семутину волнует более серьезное: темы морали.

Старшеклассники Слава Шмыров, Дима Бронский, Виталий Моисеенко, Боря Ерохин, **Света Томских** также пытаются писать на серьезные темы. Много еще неуверенного в их восприятии поэзии. Но ведь у них и все еще впереди.

Будут ли мои ученики поэтами, писателями, трудно сказать заранее.

Четверть века шумит за бортом наших «Алых парусов» жизнь. И мне хочется пожелать попутного ветра и чистой воды их питомцам!

Л. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

(Вечерний Челябинск. — 1976. — 27 ноября. — С. 4)

Выпуск № 2

Литературный клуб «Синегорье»

На литературной странице «Комсомольца» публикуют свои стихи члены литературного объединения ДК челябинских металлургов

Павел Иванович ОСТАНИН — ветеран Великой Отечественной войны, пенсионер, стихи пишет давно, они публиковались в местных газетах, передавались по радио и телевидению.

Иван Иванович КАРТОПОЛОВ — фронтовик, работает слесарем в цехе столовых приборов ЧМЗ, автор поэтического сборника «Через огонь».

Геннадий КОМАРОВ — бригадир слесарей-наладчиков цеха столовых приборов ЧМЗ, награжден орденом Трудовой Славы, стихи печатались в коллективном сборнике «Времен невидимая связь».

Виктор АЛЕКСЕЕВ — проходчик спецуправления «Челябинскшахтострой», участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей, стихи печатались в поэтическом сборнике «Времен невидимая связь».

Галина ДОЛГИРЕВА — воспитатель, стихи публиковались в журнале «Урал».

Татьяна ГЕНИШТА — окончила журфак Уральского государственного университета, выпускает радиогазету на Челябинской обувной фабрике, стихи публиковались в местных газетах.

Валерий ШИТИКОВ — слесарь доменного цеха ЧМЗ, стихи публиковались в местных газетах.

Светлана ТОМСКИХ — лаборант, стихи публикуются впервые.

Ольга НЕСТЕРОВА — ученица 9-го класса Челябинской 70-й школы, стихи передавались по областному радио.

Светлана ТОМСКИХ

* * *

Бываем жалки мы в великодушии,
Когда прощаем только на словах.
Слова корёжатся одним предчувствием
Беды, уже застывшей на губах.

А от себя дождемся ль покаяния,
И будем ли собою прощены?
Но никому не нужно подаяния,
Чего ж его протягиваем мы?

(Комсомолец. — 1979. — 5 мая. — С. 4)

Наш творческий цех

В окна Дворца культуры льется запах сирени. Члены литературного объединения «Металлург» собрались на заключительное занятие.

Писатель Николай Егоров рассказал о Всесоюзном совещании руководителей писательских организаций. А потом мы вспоминали о своих литературных делах…

Прошедший год был плодотворным. За период с 7 сентября 1978 года по 1 июня 1979 года состоялось 35 встреч, бурных и интересных. Они всегда приносили радость общения. Объединение можно назвать сообществом верных и искренних друзей. Когда проходили обсуждения новых произведений, выступающие всегда были строги и взыскательны. Но все замечания они высказывали в доброжелательной форме, с желанием помочь товарищу по перу.

А обсуждали мы не раз очерки Нины Пивоваровой, отрывки из повести Анатолия Белозерцева, главы из романа Михаила Калягина, рассказы Николая Батолина, Вадима Баландина, Валентины Поздневой, Игоря Сюмкина, Александра Костина и других. Почти на каждом замятии обсуждали новые стихи.

Большой радостью для нас был выход в свет поэтического сборника Атиллы Садыкова «Степь колыбельная». А в альманахе «Каменный пояс» был напечатан рассказ Игоря Сюмкина «Полдень следующего дня». В журнале «Огонек» недавно опубликована большая подборка стихов Владимира Носкова. В журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент» напечатаны мои путевые заметки «Добре дошли, братушки». Газета «Комсомолец» 5 мая отвела нашим поэтам литературную страницу. Их стихи печатались в «Вечернем Челябинске», в «Челябинском рабочем», в «Уральской нови», в журнале «Урал» и в центральных изданиях.

Прозаик Игорь Сюмкин, поэты Виктор Алексеев и Владимир Носков были недавно участниками седьмого Всесоюзного совещания молодых литераторов. Журнал «Наш со-

временник» принял к публикации их лучшие произведения. Челябинское телевидение и радио сделало о них передачу.

Следует отметить творческий успех поэтов Виктора Смагина, Геннадия Комарова, Павла Останина, Ларисы Федотовой. У них готовы к изданию поэтические рукописи. Книга Федотовой готовится к выпуску в издательстве «Современник».

Стихи их не оставляют читателей равнодушными, берут, как говорят, за живое. Это произведения о природе, о любви, о чистоте человеческих отношений, о людях труда, о героике наших дней.

Скоро увидят свет повести Игоря Сюмкина и стихи для детей Прасковьи Мельниковой. **В журнале «Урал» готовится к публикации подборка стихов молодой поэтессы Светланы Томских**.

Хочется сказать самые теплые и добрые слова в адрес Оли Нестеровой, одаренной поэтессы. Она у нас самая молодая, недавно получила паспорт и закончила девятый класс. У нее все еще впереди: и жизнь, и учеба, и труд. Стало быть, придут и зрелость, и глубина. Хочется от души пожелать ей творческих успехов

Наши занятия не ограничиваются обсуждением только своих произведений. Учимся у «маститых». Нынче мы изучили статью Л. Леонова «Талант и труд» А занятие, проведенное 29 апреля, было посвящено творчеству писателя В. Астафьева. Подробно и с большой любовью к нему говорили Атилла Садыков, Игорь Сюмкин и Анатолий Белозерцев. Эти занятия были полезными, многому научили, заставили строже относиться к себе.

Много было интересных и волнующих встреч с артистами и писателями. Например, артист В. Кузнецов читал с пафосом и подъемом поэмы Бориса Ручьева, Валентина Сорокина и стихи Василия Федорова. А писатель Петр Смычагин рассказал о работе над романом «Тихий гром». Поэты Н. Кутов из Ленинграда, Р. Кутуй из Казани, В. Машковцев из Магнитогорска, Л. Шкавро из журнала «Урал» поведали о своем твор-

честве, говорили о необходимости повышения поэтического мастерства, читали свои стихи.

В октябре наше занятие посетил А. Ермаков, инструктор ЦК ВЛКСМ, рассказал о работе с творческой молодежью, о задачах литературных объединений, выслушал наши пожелания и предложения.

Члены литобъединения А. Садыков, А. Калягин, В. Смагин, Г. Комаров, И. Каргополов, А. Головин и другие часто выступают перед читателями. Желанными гостями они бывают в школах, ГПТУ, институтах, общежитиях, домах отдыха, санаториях и в профилактории ЧМЗ. Такое общение с читателями необходимо.

Оно стимулирует творчество.

Хотелось бы, чтобы Дворец культуры чаще организовывал такие встречи с рабочими цехов родного завода.

И. ФОРТЫГИН,
член литобъединения «Металлург».

(Челябинский металлург. — 1979. — 14 июня. — С. 4)

Уральская новь

Литературный цех

Прошел год, и нам надо вспомнить свои литературные дела в нем.

С первого сентября по тот день июня, когда мы разошлись на каникулы, было много встреч, бурных и интересных. Мы считаем свое объединение сообществом верных и искренних друзей. В обсуждении новых произведений мы всегда были строги и взыскательны, но свои замечания высказывали доброжелательно, с желанием помочь товарищу по перу.

А обсуждали мы очерки Нины Пивоваровой, отрывки из новой повести руководителя объединения Анатолия Белозерцева, главы из романа Михаила Колягина, рассказы Николая Батолина, Вадима Баландина, Валентины Поздневой, Игоря Сюмкина, Александра Костина и других. Почти на каждом занятии обсуждали новые стихи.

Большой радостью для нас стал выход в свет поэтического сборника Атиллы Садыкова «Степь — колыбель моя». А в альманахе «Каменный пояс» был напечатан рассказ Игоря Сюмкина «Полдень следующего дня». Журнал «Огонек» опубликовал стихи Владимира Носкова. В журнале «Рабоче-крестьянский корреспондент» напечатаны мои путевые заметки «Добре дошли, братушки», они о встречах с болгарскими друзьями.

Прозаик Игорь Сюмкин, поэты Виктор Алексеев и Владимир Носков были участниками VII Всесоюзного совещания молодых литераторов. Там журналы «Наш современник» и «Москва» приняли к публикации их лучшие произведения.

Хочется отметить, что у наших поэтов Виктора Смагина, Геннадия Комарова, Павла Останина и Марины Федотовой готовы к изданию рукописи; книга Федотовой готовится к выпуску в издательстве «Современник».

Нам нравятся стихи наших товарищей. Это произведения о природе, о любви, о чистоте человеческих отношений, о людях труда, о героике наших будней.

Скоро увидят свет рассказы Игоря Сюмкина и стихи для детей Прасковьи Мельниковой. В журнале «Урал» готовится к публикации **подборка стихов Светланы Томских**, Владимира Носова и других.

Хочется сказать об Оле Нестеровой. Она у нас самая молодая, недавно получила паспорт и закончила девятый класс. У нее все еще впереди: и учеба, и труд, и поэтическая зрелость. Хочется от души пожелать ей больших творческих успехов.

Наши занятия не ограничиваются обсуждением только своих произведений. Мы изучали статью Л. Леонова «Талант и труд». Занятие, проведенное в апреле, было посвящено творчеству писателя В. Астафьева. Такие занятия очень полезны. Они многому учат, заставляют строже относиться к себе.

В течение года много было интересных и волнующих встреч с артистами и писателями. например, артист В. Кузнецов из Москвы читал нам поэмы Бориса Ручьева, Валентина Соро-

кина и стихи Василия Федорова. Писатель П. Смычагин рассказал о работе над романом «Тихий гром». Поэты Н. Кутов из Ленинграда, Р. Кутуй из Казани, В. Машковцев из Магнитогорска, Л. Шкавро из Свердловска поведали о своем творчестве, говорили о необходимости повышения поэтического мастерства, читали свои стихи.

Общение — полезная учеба для молодых.

Члены литобъединения часто выступают перед читателями в школах, ГПТУ, институтах, общежитиях, домах отдыха, санаториях и в профилактории ЧМЗ. Такие встречи стимулируют творчество рабочих поэтов и прозаиков.

И. ФОРТЫГИН,
секретарь литобъединения «Металлург»

Письма. Ответы

В красоте ли красота?

Здравствуй, уважаемая редакция!

Мне 19 лет. Все мои подруги дружат с парнями, многие из них уже вышли замуж. Но на меня парни даже не глядят. Мне это очень обидно, так как эти подруги нравственно ничем не лучше меня, но все дело в том, что я очень некрасива. Многие говорят о проблеме красоты и ума с иронией, но уверяю вас, лишь потому, что это не касается их самих. Я же очень тяжело переживаю свою некрасивость. И на собственном опыте вижу, что и в наш век, век научно-технической революции, даже среди образованных людей, у девушки гораздо более ценится красота, нежели ум. Так ли это? Права ли я? Сейчас я нахожусь в угнетенном состоянии, потому что все время думаю, что из-за внешности (чему не я виной) жизнь моя будет несчастна. Света Т.

г. Троицк

Было бы ханжеством отрицать, что женская красота была и останется тем божеством, которому поклонялись и будут поклоняться. Красоте поражает, притягивает, вдохновляет. Но она же нередко мучит, ослепляет, толкая на забвение всех

норм. Достоевскому принадлежат слова: «Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь».

Красота Натальи Гончаровой дала Пушкину колдовство радости, но она же стала косвенной причиной его гибели. Известна история неразделенной любви выдающейся русской женщины Е. Кузьминой-Караваевой к А. Блоку. Анна Ахматова так объяснила эту неразделенность: «Она была некрасива — Блок не мог ею увлечься».

Все это так, однако… Понятие красоты условно, изменчиво, относительно. Это во-первых. А во-вторых: не красотой единой жив человек. Народная многовековая наблюдательность: «Не родись красивой, а родись счастливой…». Вокруг красоты много напряжения, сутолоки, столкновения эмоций самых разных: и добрых, и сатанинских. Чтобы не потеряться, сохраниться, остаться собой, нужен характер, «я» или то, что вы, Света, называете «ум». Вокруг некрасоты — круг одиночества, безымянности, времени, которое нужно заполнить общением. Здесь не вас выбирают — вы должны выбирать и заинтересовать собой. И если у вас нет красоты лица, то заинтересовать вы должны красотой лика, то есть тем, что освещает вас изнутри.

Прекрасно об этом у Марины Цветаевой, удивительно глубоко понимавшей различие между пошлостью внешне «приличненько-понятного» и светоносностью внутренне оригинального. Вот как она писала: «Красивость — внешнее мерило, прекрасность — внутреннее. Красивая женщина — прекрасная женщина, красивый ландшафт — прекрасная музыка. С той разницей, что ландшафт может, кроме красивого, быть и прекрасным (усиление, возведение внешнего до внутреннего), музыка же, кроме прекрасной, красивой быть не может (ослабление, возведение внутреннего до внешнего). Мало того, суть явления выходит из области видимого и вещественного, к нему уже «красивое» неприменимо… «Красивая музыка», «красивые стихи» — мерило музыкальной и поэтической безграмотности».

Вот видите, как не раболепно, как критически — жестко, подчас иронично-язвительно подходит поэтесса к традици-

онно понимаемой красоте, видя в ней опасность соединения с пошлостью самодовольства и инертного, животного бытия. Стихи, по ее мнению, могут быть либо прекрасными, либо плохими. Удовлетворенность красивостью — дурной знак.

Женщина, по мнению Цветаевой, может быть некрасивой, но прекрасной. Обратный пример — у Цветаевой красавица Наталья Гончарова — «кукла». А очень некрасивый Пушкин — «прекрасен, ибо природная некрасота черт лица побеждена мощью души и ума.

В нашем кружке юнкоров писали этюд о красоте. Одна девушка*, с характером своеобразным, написала: «Ненавижу красавиц с кукольной правильностью черт, с изящными носами, огромными глазами и длинными ресницами. Мы все в детстве грезили ими, вкладывая эту кукольную красоту в свои мечты, рисуя точеные профили на полях тетрадей. Тогда мы не знали, что предаем себя будущих…».

И далее шли эмоциональные раздумья о красоте «некрасоты»: старости, морщин, усталости, страдания, седин. Речь шла именно о красоте, а не о морали. Можно вспомнить некрасивых, неприбранных стариков и старух Рембрандта, которые, по мнению многих, — прекрасны. Или сравнить покалеченный в долгих плаваниях корабль с новым, только что спущенным на воду. Какой красивее?

Вы сетуете, что красота и в наш век в девушках «более ценится, нежели ум». Но, по-моему, ум и нынче не в меньшей цене, чем красота: и то, и другое достаточная редкость. Но дело, видимо, в том, чтобы ум привлекал, а не отталкивал, ведь бывает же ум недобрый, разрушительный, несимпатичный. Такое, увы, не редкость. Думаю, что умная девушка, если у нее есть к тому же внутренняя мягкость, женственность, не останется без внимания хотя бы потому, что в таком человеке будут нуждаться. Доброта в сочетании с умом — сила, которая смело потягается с красотой.

---

* Эта девушка — Света Томских (*прим. ее мамы*).

Но, разумеется, многое зависит от круга вашего общения. Если среди тех, с кем вы дружите и общаетесь, в цене внешние признаки силы и могущества, то, конечно, смазливая вульгарность и бездуховность при всяких обстоятельствах одержит верх.

Я думаю, вы не будете со мною спорить, если я скажу, что красота вовсе не гарантирует счастья. Это так ясно, и так много можно привести примеров из жизни и книг. Думаю, что и обратная ситуация: то, что вы родились некрасивой (если даже это действительно так), вовсе не гарантирует вам несчастливую судьбу. Счастье можно найти во многих вещах — в альтруизме, например, в служении другим, в любви. А если в любви, значит любить должны вы. Вот ведь в чем дело, Света Вы должны любить, Цветаева воспела счастье неразделенной любви. Академик Ухтомский поведал о своей тетке — счастливейшем человеке, у которой личной жизни (в узком, достаточно примитивном смысле слова) не было, а вся душа ушла на нежные заботы о других. Встречу с каждым человеком она переживала, как праздник, потому что в корыстном смысле ничего от людей не ждала, а умела быть для них «близким», «родным». «Породниться душой» — гоголевское. Этого не дождаться, если не «пойти в услужение» — в высоком, не пошлом смысле.

Не спорю, я привел вам примеры сильных духом людей, людей незаурядных. «А если я слаба?» — спрашиваете вы.

Я вам отвечу: вы должны искать свое счастье. Возможно, оно будет непохоже ни на чье другое. Возможно, у некоторых оно вызовет иронию или насмешки. Разве это вас должно смущать?

Нельзя сводить к красоте все разнообразие мира и человеческой натуры. Влюбляются не только в красоту, в правильность и гармонию черт или их оригинальность. Собственно, красивых от природы людей не так уж много. Любовь создает красоту. Когда вы что-то любите, оно становится для вас красивым, независимо от того, что думает об этом мир. Кончается любовь — исчезает, растворяется, как сон, красота.

«Только влюбленный имеет право на звание человека», — говорил Александр Блок. Почему? Да потому, что одна любовь творит красоту. Пока любишь — мир прекрасен. И обратное — если видишь вокруг красоту, значит любишь.

Какой мир «на самом деле», без участия человека — красивый или «сам по себе», вне оценки других людей? Кто знает? Может быть — никакой?

Но вот вас — «никакую» — полюбил один-единственный человек, и вы для него (и только для него) стали красивой. Довольно ли для вас будет такой любви, не будет ли ваше тщеславие бунтовать, жалуясь на то, что другие люди вами по-прежнему пренебрегают? Спросите себя и по ответу поймете, что вами движет— суетное тщеславие, насытить которое все равно никогда не удастся, или желание любить, то есть создавать красоту. Ту самую красоту, по которой вы так тоскуете в вашем письме.

P. S. Закончив ответ, я отправился на занятие кружка журналистики, где показал ваше письмо вашим ровесникам и ровесницам. Импровизированное обсуждение, которое состоялось, стало неожиданной поправкой к моим несколько абстрактным размышлениям. Приведу некоторые суждения ребят.

— У меня есть знакомая, которая стесняется своей худобы, внушила себе, что она серая и неинтересная, ходит, как в воду опущенная, поникшая, ссутулившаяся, ноги волочит, а между тем у нее изумительные большие глаза. Они-то и могли бы ее всю освещать, измени она к себе отношение.

Думаю, что у Светы тот самогипноз. А то, каким себя человек ощущает, обязательно передается окружающим.

(Замечу в скобках, что эта мысль подробно развивает в своих популярных книгах известный психотерапевт Владимир Леви, утверждающий, например, что человек, относящийся к своему физическому недостатку либо спокойно, либо как к достоинству непременно заразит таким же отношением и окружающих).

— Совершенно согласна. Нельзя сидеть и думать: я некрасива, я некрасива. Зажатость, скованность, неестественность — это и есть некрасивость.

— У меня есть знакомая: некрасивая, необаятельная, неумная и т. д., а парням она еще как нравится. Почему? Не знаю.

— У Куприна есть рассказ о том, как гимназист без памяти влюбился в женщину, у которой в графе достоинств были одни только минусы.

— А помните рассказ Акутагавы «Нос», где чудовищно уродливый нос монаха, как оказалось, и был его достоинством.

— Почему Акутагава? И в жизни сколько угодно случаев, когда природное уродство не только от вращает, но вызывает симпатию. Все зависит от самого человека.

— Вообще, это совершенная чепуха, что красота в каких-то определенных чертах лица, фигуре и т. п. Красота рождается из целого, из множества деталей, каждая из которых может быть и некрасивой.

— Красота — не что-то неподвижное. Красота — это и поведение тоже. Есть люди, которые, если их рассматривать как манекен, очень некрасивы. Но вот такой «урод» начинает двигаться, говорить, улыбаться, общаться с вами и с людьми, и никому не придет в голову назвать его некрасивым. Это очень обаятельный, красивый человек.

— Да вот пример из жизни: Алиса Фрейндлих. Когда-то ей горестно сочувствовали: девушка, с такой внешностью и не мечтайте быть актрисой…

— Или Инна Чурикова…

— Но у нее умопомрачительные глаза.

— Но когда-то они не были «умопомрачительными», их надо было открыть, сделать…

Вот такая, примерно, это была импровизация.

Очевидно, Светлана, вы почувствовали, что вопрос о внешности это, в конечном итоге, вопрос о стиле жизни, о внутренней ориентированности. Не следует думать, что внешнее

живет оторванно от внутреннего: в существе человека нет перегородок, все взаимосвязано и взаимообусловлено.

Каждый человек потенциально привлекателен. Красиво все, даже рваный ботинок на обочине. Но для этого нужно, чтобы на него посмотрел глаз художника.

Любое проявление человеческого, в котором есть искорка духовного, — привлекательно.

Красота — в движении, внешнем и внутреннем. Будем учиться двигаться.

Вы даны себе — примите с благодарностью этот дар, не ропщите, что он не столь богат, как вам бы хотелось, не завидуйте. Все целесообразно и имеет абсолютное значение. Несите этот дар бережно и уверенно и душевный мир, не сомневаюсь, придет к вам.

Н. БОЛДЫРЕВ

(Комсомолец. — 1979. — № 113. — 22 сент. — С. 3)

Час знакомства

Дневник души

Стихи Светланы Томских известны нашим читателям. Печатались они также и в других челябинских газетах, на страницах журнала «Урал». Сейчас ее стихотворения готовятся к публикации в журнале «Литературная учеба» и коллективном сборнике Южно-Уральского книжного издательства.

Светлана живет в Челябинске, заочно учится в пединституте и работает лаборантом в педагогическом училище.

Я люблю, читая стихи Светланы, узнавать знакомые ситуации, настроения, места. Ну кому из нас не приходилось наблюдать через окно дачного поезда такую картину: «Упакована станция в старенький снег, и скучают вагоны на мерзнущих рельсах»?

Писать стихи Светлана начала очень рано. Но долго скрывала их от глаз даже хорошо знакомых людей. Мне кажется, это шло от боязни вспугнуть в себе постоянно ускользающее

ощущение поэзии. Во всяком случае, такая скрытность помогла Свете избежать многих опасных искусов, с которыми постоянно сталкивается молодой поэт. В частности, дурной привычки в детстве — к рифмоплетству, за которой стоит жажда умиленных глаз взрослого человека.

Стихи никогда не мешали Томских смотреть на вещи трезво. И эта трезвость, как мне кажется, придает ее стихам особую жизненность и в 18 лет их автора делает интересными и юному человеку, и человеку зрелому. Когда Свете было 14 лет, она написала про цветные стекла, через которые ей хотелось бы смотреть на мир. Ведь тогда «подлость, равнодушие, трусость — все потонет в ярких красках». Но тут же автор задается вопросом, сколь резонным, столь и справедливым: «Но если цветные стеклышки испортят мне зрение?».

Человек сугубо городской, она пишет город разным. И тот, на асфальте которого «чертит циркулем дождь лужи», и тот, где «две нитки рельсов покачнутся и улицы собой сошьют».

Читая стихи Светланы, иногда не поймешь, сколько прочел — пять или десять. Они — беспрерывный лирический дневник, отражающий даже слабые всплески души.

Может быть, в этом и кроется причина многих просчетов Светланы.

Ритм иногда сбивчив, рифма случайна, не закончена мысль. Но это не досадные ошибки, подлежащие немедленному исправлению, это отсутствие мастерства, опыта, которые только приходят к Светлане.

Нередко, когда речь заходит о еще неизвестном поэте, прежде всего интересуются его биографией. По ней в какой то мере можно судить о жизненном опыте человека, о его вкусах и наклонностях. Но увлекаясь биографией фактов, мы очень часто забываем о биографии души, которая раскрывается через стихи. На долю родившихся в 1960-е годы — на долю поколения Светланы — не выпало суровых испытаний, поэтому ее событийная биография обычна, даже скудна. Но биография души для всех поколений сложна в одинаковой мере!

В стихах Светланы Томских видна биография души непростой и ироничной, болезненно переоценивающей простые человеческие понятия и в ходе этой переоценки познающей им истинную цену Души, в итоге являющей предельно простые и легкие строки:

А мне сегодня снились журавли,
Подумаешь, ну, снились и не более,
Но где-то, отрываясь от земли,
Они кричат о Родине с любовью.

В. ШМЫРОВ

(Комсомолец. — 1980. — 12 апр. — С. 3)

Репортерские строки

Стихи юных

На страницах молодогвардейского альманаха «Истоки» публикуются произведения тех, кто делает первые шаги в литературе.

Недавно увидела свет книга «Истоков» нынешнего года. В разделе «Литературная студия» напечатаны произведения юных стихотворцев литературного объединения «Алые паруса» при Челябинском Дворце пионеров и школьников имени Н. К. Крупской. Авторы подборки — В. Шмыров, Е. Лапидус, **С. Томских**, Д. Кондрашов и Г. Хафизова.

В редакционном предисловии к подборке сказано: «Эти стихи привлекают не тем даже, что юные поэты показывают неплохое владение техникой, а умением мыслить поэтически — и это главная ценность».

(Вечерний Челябинск. — 1980. — 21 окт.)

Уральская новь

«В синем цехе любви и добра»

Нередко задаю себе вопрос: что влечет молодых в наше заводское литературное объединение? Ведь мы занимаемся каждое воскресенье, значит, они отрывают полдня от своего отдыха. А к нам на занятия приходят не только металлурги, но и студенты, школьники из других районов города, а Сережа Якушкин даже приезжает на пригородном автобусе из Кременкуля, И не только Сережа… Атилла Садыков в течение многих лет приезжал почти каждое воскресенье из Аргаяша. Год назад его приняли в Союз писателей (это уже одиннадцатый участник нашего объединения — член творческого союза), и сейчас он учится на Высших литературных курсах в Москве…

Так что же влечет в литобъединение? Наверное, стремление выразить самих себя, обогатить свой духовный мир, еще раз соприкоснуться с красотой. Ведь поэзия художественного слова — это и есть красота. Не случайно наш заводской поэт Вячеслав Богданов писал:

Я работаю в цехе — Россия,
В синем цехе любви и добра!

Многие у нас с металлургического, и мы часто бываем на металлургическом. У всех нас оставили добрый след в душе встречи с коксохимиками, мартеновцами, железнодорожниками, учащимися школы рабочей молодежи, юношами и девушками, живущими в заводских молодежных общежитиях.

А теперь о творчестве наших литобъединенцев. В Южно-Уральском издательстве готовятся к выпуску книга нашего прозаика, участника Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве Игоря Сюмкина и сборник стихов участника того же совещания поэта Владимира Носкова. В сборнике «Светунец» опубликованы циклы стихов наших поэтов И. Каргополова, П. Останина,. Г. Комарова, В. Смагина, В. Носкова.

Мы подготовили и рукопись коллективного сборнике «Лицом к огню». В него вошли произведения и ветеранов литобъединения В. Сорокина, В. Богданова, А. Куницына, Г. Суздалева, В. Тряпши, А. Садыкова и молодых — О. Шаткова, В. Шитикова, О. Сироткиной, О. Нестеровой, **С. Томских**, Л. Южаниной, С. Якушкина, В. Бугаева. Стихи, рассказы, очерки, юморески — чуть ли не все жанры представлены в нем.

Сегодняшняя публикация — творческий отчет наших литераторов, в основном молодых, в канун всесоюзного форума юности — XIX съезда Ленинского комсомола.

А. БЕЛОЗЕРЦЕВ,
руководитель литобъединения «Металлург».
(Вечерний Челябинск. — 1982. — 15 мая. — С. 3)

Обретение памяти

Заметки о новом свободном альманахе «Форум»

Челябинское издательство «Форум-издат» вновь отличилось на низе просвещения, выпустив в свет одноименный «свободный альманах», составленный из произведений «южноуральских литераторов», как сказано в аннотации Первый выпуск «Форума» ориентировал по мнению авторов, на «хорошую литературу», ибо «о чем бы она ни говорила, какой бы объект ни избирала — это всегда радость, праздник для читателя».

Составитель альманаха — писатель Виктор Окунев (автор известной книги «Записки лимитчика»), пишет в своем манифесте-предисловии: «Суть свободного альманаха «Форум» — срез литературного процесса. С главным и второстепенным в писательском осмыслении происходящего, с тем, что кажется сегодня случайным, литературным «сором»… Так называемое «немое поколение»—а оно вне возрастов, объединяемое нашим вечным «вчера»,—наконец-то, будем верить, заговорило… Замечено также, что новая литература продемонстрировала замечательный возврат к слову, тематический

плен — «без суда и срока» —кончился. Она вышла, наконец, из гулаговских бараков и коммуналок соцреализма. Разумеется, от родимых пятен его нельзя» сразу избавиться — соцреализм мстит провинциальной узостью взгляда, неверием, в первую очередь, в себя, в свою самодостаточность. Поиску новых путей, новых горизонтов в литературе и поможет, надеюсь, наш альманах».

Надо сказать, надежды составителя «Форума» вполне оправданы. Широкий жанровый диапазон представлен на страницах альманаха: главы из романа, короткие повести, рассказы, эссе, стихи — «традиционные и авангардные». Эстетическая независимость авторов альманаха означает и «неприсоединенность издания… к каким-либо политико-литературным группировкам», хотя они, авторы, оставляют за собой право на личные «убеждения» в выборе гражданской позиции. Помимо известных имен (Ю. Абраменко, Н. Болдырев, С. Борисов, В. Ежов, Г. Дмитрин, М. Клименко, К. Макаров, В. Харьковский, Н. Ягодинцева) читатель встретится и с новыми для себя авторами; И. Андрощук, В. Чиликин, Ю. Попов, А. Бражник, В. Перчаткин, В. Вээл, С. Дудник, Р. Завражнова-Морозова… Всех здесь не перечислишь, главное в художественной наполненности альманаха. С первой же страницы тон задают поэтические философемы Д. Бавильского «На злобу дня»:

Мир притаился до утра.
Ему сковали веки
Снов реки, страхи, холод-тьма…
Фонарь штурмует мошкара
И вечность человеки.
В садах хозяйничает дым.
Рассвет, прокрадываясь с тыла,
Нас видит спящими. Мы — спим.
День зол. Зола уже остыла.
А тополь — жив и невредим.

Вообще для многих стихотворений, представленных в «Форуме», налицо притчевая заданность темы: «Антиутопия», «Апокалипсис» (В. Чиликин), «Стеклянный памятник», «Мне участь: быть поэтом поездов…» (В. Вээл), «Анфилада туманных зеркал» (Н. Ягодинцева). Иной раз кажется, что на дворе начало века и вот-вот зазвучат вблизи стихи поэтов-символистов: Д. Мережковского, З. Гиппиус, А. Белого, Ф. Сологуба… Слишком ощутимы влияния у наших современников, мало своего, оригинального, на мой взгляд. Литературные школы и привязанности всегда сковывают, мешая развернуться личному началу. Мне, например, ближе поэтическая исподведь С. Борисова под названием «Свидетельствую»:

Клясться в любви к России, бить
в грудь кулаком для наглядности пущей —
это как душу свою губить,
щупая дев под родимой кущей.
Я этой истерики не люблю,
будь ей во веки веков неладно!
Лучше откладывать по рублю
к смертному часу — не так накладно.
Лучше извериться в ней до дна,
в падшей отчизне, чем лгать с клавира.
И даже, если она одна
у меня, я тоже один у мира.
Я не умею любить в навал,
чохом, включая и место лобно —
если я женщину целовал,
значит, я ведал ее подробно.
Россия, как ты ее ни вспень,
в роли любовницы видится плохо.
Не от ее ль дурноты мигрень
и ревматизм нажила эпоха…

Перед нами — настоящая Поэзия, со всей ее смысловой образной многомерностью выражения. И здесь не надо много

говорить о заездах и вечности, истина выявляется в простоте обычных вещей, для каждого, кто живет «надеждой и верой» взамен литературных книжных миражей…

Наиболее сильное впечатление производит проза альманаха. При всей ее разностильности она выделяется единой жесткой сюжетной линией, будь то фантастика или самая обычная реалия. Авторы выступают в роли «читателей-исследователей», воссоздавая «мир абсурда, жестоких символов, трагических и фарсовых масок». Но, должен заметить, и это — вчерашний день литературы. Сегодня, как никогда, наша жестокая до безнравственности действительность нуждается в добром тихом слове помощи и сострадания. И всякое художественное нагнетание отторгает читателя. Бот почему мы сейчас обратили свой взор на литературу XIX века, вновь и вновь перечитываем русскую классику, видя в ней вечные ценности бытия. И та книжная пена, что захлестнула рынок, со временем спадет, грязь никогда не держится долго.

«Форум» в этом смысле являет собой определенный этап нашей уходящей литературы, некую ретроспекцию того, что не удалось сделать в свое «застойное» время. Вот она, цена духовной «катакомбности»! Всякому творению необходим своевременный выход, иначе пропадает эффект прямого воздействия на читателя, зрителя… Однако в некоторых произведениях (рассказы, публицистика, эссе) явственно ощутим нерв времени, его приметы. Таковы «Страх» В. Харьковского, **«Телохранитель» С. Томских**, «Беспризорник» А. Кожейкина, «Домовой Анчутка» К. Макарова, «Между митингом и камерой», «Другие люди» В. Окунева, «Эльга Егорова» Н. Болдырева. Выстроенные психологически точно, эти работы подготавливают и завтрашний день нашей уральской литературы.

И выход альманаха «Форум» означает новую ступень духовного роста художественной интеллигенции Южного Урала. Руководство «Форум-издата» тем самым внесло свой вклад в развитие нашей культуры, которая существует и развивается, несмотря ни на что. Равно как раньше тот же

«Форум-издат» выпустил серию небольших книг в помощь учителям-словесникам (произведения И. Бунина, А. Толстого, С. Есенина). И это в то время, как мощное Южно-Уральское издательство напрочь отошло от издания просветительской литературы, построив свою деятельность на выпуске лишь коммерческой.

Алексей КАЗАКОВ,
литературовед.

(Челябинский рабочий. — 1993. — 5 февр. — С. 3)

Невостребованность

Случай этот по нашим развальным временам — «дикого Запада и первоначального накопления капитала» — предвозвращения в мировую цивилизацию столь удивителен и несовременен, что умолчать о нем никак нельзя. Держу в руках литературную новинку. Заглянул в «Мысль» (бывшую) по старой привычке на авось… А вдруг что-нибудь для ума и сердца? И надо же! Сразу в глаза бросилось. Серым воробышком в кричащем красками, ужасами, мускулами, грудями и ляжками калейдоскопе творений мастеров мировой культуры. И как же этот воробышек сюда запорхнул?

С первого взгляда по внешнему виду я уже знал, что это нашенское. Где уж нашим ныне угнаться за чтивными заморскими жар-птицами обложечным убранством. И ведь не обманулся. Челябинский литератор — Владимир Курносенко. Небесталанный, как-никак за несколько лет немногими пока книгами стал приметен на российском литературном небосклоне. Но ведь имя его никак не вписывается в нынешнюю «читательскоспросную» обойму. В его прозе ни детективных ребусов, ни фантазма, ни щекотки наших плотских чувств гераклическими подвигами конечностей и того, что меж ними. Курносенко вся эта «современность» чужда, он работает в русле доброй старой русской литературы. Медик по образованию и практик, он, подобно пищущим старорусским врачам, сосредоточивает свое художественное внимание на стыке

духовного и физического в человеческой натуре. Его заботит взаимовлияние этих двух начал гомо сапиенса. По убеждению врача-литератора, именно от него зависит наше нездоровье, как и успех врачевания.

Нет, и в очередной книге не предал наш земляк свое творческое «я», не попал в объятия нынешнему массовому читательскому спросу. Сборник назван по художественной хронике «Дежурство со следователем» (тоже, кстати, не боевик, а все больше о том, как и почему дошла до такой жизни вереница поганцев, которая проходит через «дежурство»). Однако заглавное место в книге все же за повестью «Лента Мебиуса». Стаким-тоназваниемзакрутитьбычто-нибудьэкстрасенсорно-эзотерическое. Увы, автор и здесь сердит затеплившиеся было надежды жаждущего книжных забав чтивопотребителя. Вроде бы и есть здесь третий, который при семейной паре оказывается нелишним, и возлияния чуть ли не с первой по последнюю страницу. Вся обстановка соответствует. И ведь хоть бы заголил кого автор. Хоть бы кто-кого трахнул дубиной или чем еще, как ныне у молодежи. Правда, некий Череватый в обидно-пьяном аффекте занес было топор над «третьим нелишним», да обошлось. Отвел автор руку. К делу бы, а они… Все переживают-переживают, даже алкаш этот… Но как написано! Каким русским языком! Просто не верится, что есть еще литераторы, способные на такое. Слово к слову, строка в строку… Ах великий, могучий, всесильный русский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде того, что делается дома. Будто пьешь доброе старое питие…

Моими бы устами да мед пить. Увы, появлению таких книг ныне приходится только удивляться. На челябинских книжных развалах встретил лишь этот вот «нашенский» сборник выпуска прошлого года. Остальные наши приметные в литературе земляки отсутствуют. Не мор ли на них напал? Нет, живы. Но какому издателю они нынче нужны! Во все времена и проза, и поэзия на девять десятых были убыточны. До революции литераторов поддерживали меценаты и государство, в «беспросветную» советскую эпоху — государство всецело. Ныне…

И власть советская, которая пока еще не свергнута, шагая в ногу со временем — ельцестройкой, отказала. И незаметно пока, чтобы бурно воскресающая деловая Россия, понынешнему панацея от всех наших болестей, что-то кому-то из пишущих заметно наказала. Если и прошмыгивают местные серые воробышки на книжные прилавки в блеск и нищету заморских куртизанок от коммерческой литературы, так, в основном, за свой счет. Интересно, как выкрутился Курносенко? Кто помог ему? Но в одном уж точно ему повезло — с издателем. Можете поверить, среди них сейчас доброхотов, чтоб взяли на себя хлопоты по выпуску такой вот литературы, раз-два и обчелся. Даже если наскребет автор денег на покрытие затрат на издание, прибыли книга не даст. А без прибыли издатель ныне браться за дело не…

Досказывайте, как хотите, а только вот такие цифры и факты. В Челябинске получили право на издание более двадцати организаций. С таким-то бы взводом издателей! Увы и ах! В доельцинские годы одно-единственное Южно-Уральское книжное издательство выпускало местной литературы намного больше, чем весь этот нынешний «издательский взвод». Но есть, оказывается, в нем и шагающие в коммерческом марше не в ногу. Из немногого числа таких вот «поручиков» «Форум-издат», давший жизнь книге Владимира Курносенко. Среди прошлогодних его изданий (около двадцати) прибыльных почти нет — все местных авторов. Сплошной убыток!

Добрая половина форумовских изданий документальная, в основном, на житейскую пользу. Среди художественных первенствуют стихи. «Поэтическую рубрику — 92» представляют пять сборников. Среди их авторов лишь один знаком челябинским любителям поэзии. «Красный гром» — пятая книга поэта Анатолия Головина. Нина Ягодинцева, Владимир Перкин, Сергей Крылатов и А. Александров — для большинства станут открытием.

Анатолий Пашнин известен читателям «Вечерки» и нашей газеты как остроумный рассказчик случаев из жизни. Он — водитель, и назвал свою книжицу «Шоферские байки».

В основном, в ней путевая бывальщина, однако забавит автор не только колесными «случаями». Посмейтесь и над рыбацкими россказнями, и милыми зарисовками о братьях наших меньших.

Сборники кроссвордов, ребусов, шарад и т. д. и т. п. нашего земляка Юрия Никитина издавались по-нынешнему и за кордоном. В республике Беларусь, к примеру. Его очередной «развлекаж» эрудитов подготовил «Форум-издат». Название сборника «Капитан Карандаш идет по следу» говорит за себя. Его герой в форме цвета маренго ведет нас по следам знаний, предлагая эрудитский поиск и интеллектуальную зарядку.

Замахнулся «Форум-издат» и на альманах. Он так и называется по имени издателя. Вышел «первый выпуск». Значит, есть надежда и на второй. Журналами и альманахами наши Палестины сроду не изобиловали. Литературная история Южноуралья фиксирует журнал «Южный Урал» (держался десять лет в 50-е годы и выдержал 31 выпуск). Вышло еще несколько сборников-альманахов в советскую эпоху (в основном разовые). В последние пятилетки выходил «Каменный пояс», но сгорел из-за убыточности на закате перестройки. На гребне постперестройки народилось было до двадцати журналов да все скончались, ограничившись в основном разовым выходом. И вот в самое безнадежье вдруг обозначается этот новый альманах с римским именованием, но по содержанию сугубо местный. Он представляет целую россыпь (более двадцати имен) — в большинстве неизвестных местных авторов. Далеко не все они блещут талантом, однако, их обнародование весьма и весьма отрадно. Оказывается, отнюдь не литературная пустыня с реденькой порослью писательских древ наша челябинщина. Поросла она пишущей братией густенько — залог того, что и древ приметных средь нее нарастет побольше. Остается пожелать, чтобы первый «Форум» не стал последним. Время-то какое удручающее!

Напоследок еще об одной гибельности для отечественной, местной в особенности, литературы. Невостребованность издателей — первая яма на ее пути к читателям. Вторая — невос-

требованность уже изданных книг. Они не нужны книгопродавцам, как и издателям. Что на них заработаешь? Это тебе не Рембо, не Эммануэль с незабвенной Анжеликой. Смешно увидеть местных «воробышков» в подземных и поднебесных книжных развалах. Но ведь и в магазинах их нет (кстати, еще государственных). «Мысль» приняла Курносенко по доброй своей воле. Еще я видел его на углу Воровского и Доватора, Где он еще? Не знаю. Неужели последняя яма на пути литератора к читателю, который, конечно же, ждет душевной встречи с ним в книге, непреодолима? К кому обратиться с этим столь значительным для нашей литературы вопросом? Не знаю. И это особенно удручает.

А. МОИСЕЕВ

(Народная дума. — 1993. — № 10. — 10 февр.)

Два мнения об альманахе «Форум»

В поисках контекста

Пик перестройки был провозглашен в критике «временем альманахов». В самом деле — любопытная закономерность: либерализация политического режима, раскрепощение общественного сознания со свойственным этому состоянию разномыслием (до свободомыслия, следующей стадии, еще далеко) мирволит актуализации такой формы существования, сосуществования художественных текстов как альманах. И шестидесятые внесли свою лепту, и вот теперь, в постперестроечные времена эта форма сосуществования актуализирована вновь.

Причины тому, к сожалению, имеют не творческий, но экономический характер. Идеальный тип альманаха — объединение под одной обложкой единомышленников, другая крайность — то, что называется «братской могилой», где тексты и авторы закапывают друг друга и самих себя. Но теперь, в блокаде рыночных отношений, во враждебном базарном окружении выбирать не приходится. Особенно Челябинску.

Появление такого альманаха, как «Форум», сколь случайно, столь и закономерно: давно уже носились в воздухе идеи некоего художественного выходящего более-менее регулярно издания. Сначала — шесть номеров «Шанса»-«Имиджа», затем вовсе нереализовавшийся «Автограф»… Худо-бедно выходят две газеты, но это уже иная весовая категория. А жизнь не исчезает, не замирает от прожекта к прожекту, тексты генерируются независимо от возможности их опубликовать. Идея подобного издания так долго носилась в воздухе, так сильно будоражила общественное мнение и отдельные умы, что реальности, пожав плечами, пришлось согласиться с чаяниями тружеников пера и материализовать начинание.

Составитель и душа альманаха, Виктор Иванович Окунев, подготавливая себе тылы, говорит в предисловии, что многие из авторов «не боятся литературы, но идут от нее, они — «читатели-исследователи». Конечно, каждый из авторов считает себя профессионалом и вряд ли согласится на такую вот скромную должность «младшего научного сотрудника», однако общее впечатление от альманаха можно выразить через название книги очерков В. Овечкина — «Районные будни». У меня здесь не содержится оценки — любой результат оказывается положительным, потому что он, этот результат, есть. Есть некая точка отсчета, от которой теперь можно двигаться, а вот куда и как — покажет время. В этом и видится главное значение «Форума» — дать срез литературного процесса, проявить его, обозначить в материальных формах. Ведь по сути дела, это первая попытка обнаружить, выявить лицо нового литературного Челябинска, попытка заявить о себе в полный голос. Так что первый же выпуск в каком-то смысле оказывается одновременно и итоговым, подводящим черту внутриутробного развития. Поэтому оказывается оправданным несколько лукавое заявление составителя о важности «главного и второстепенного… даже случайного литературного сора». Нет опыта, нет традиции — нечего и на зеркало пенять, чем богаты…

А богаты мы, оказывается, прежде всего прозой. Ей в альманахе отдана ведущая роль. Стихи вьются поначалу тоненькой струйкой, но постепенно, уже на третьем десятке страниц пересыхают. Что к удаче макета отнести никак нельзя: для существования стихов необходим особый контекст, особое смысловое, энергетическое поле. Здесь же именно стихи первыми падают на дно «братской могилы», обреченные на гибель. Да-да, из-за отсутствия воздуха. Хотя при ином раскладе поэзия могла оказаться безусловным козырем издания. Но Бог с ней, с поэзией. Она, по определению Пушкина, вообще должна быть глуповатой. А вот проза (об этом хорошо у Лидии Гинзбург), наоборот, требует мысли.

То есть сейчас, на современном этапе, главным является не то, что ты рассказываешь (хотя сюжет, конечно, и не на последнем месте), и не как ты рассказываешь (формальными изысками в конце XX века уже мало кого удивишь), а то зачем ты рассказываешь, и есть ли вообще необходимость рассказывать кому-то, кроме своей семьи. Призыв столичной критики, жаждущей беллетризма, не нужно понимать буквально: сюжет должен быть лишь подкладкой для высказывания небанальных идей и мыслей. Чистое же рассказывание истории, где сюжет — самоцель, давно (?) перешел в иные, более молодые и демократичные (читай — менее требовательные) виды искусства, не искушенные в философии, а именно — в кино и комиксы. Рассказывание, даже если оно увлекательно, еще не гарантия успеха, тем более «здесь и теперь» — в России, то есть в стране с литературоцентричным (до недавнего прошлого) мышлением и литературоцентричными традициями, на сломе исторических и эстетических эпох.

Большинство же представленных текстов озадачены лишь одним: рассказать. Просто, без затей, зарисовки с натуры, картинки с выставки, «что вижу, то пою». «А где же мясо?» — как спрашивала сухенькая старушенция из давнишней американской рекламы. Поэтому большинство тестов можно при желании обозвать «кинематографичными», их легко разложить на кадры, «на картинки»: «**Васька уже вылез из машины и легонько стукнул Робина Гуда. Тот встрепенулся и двинулся**

в нападение. Васька перехватил руку парня и ударил его в живот. Робин Гуд согнулся пополам, но времени зря не терял — достал кастет. Снизу он собрался проехаться по челюсти противника — удар по почкам опередил его. На лице мгновеннно выступил пот, который через несколько секунд смешался с кровью — Васька расквасил ему нос» С. Томских, рассказ «Телохранитель»). Чем не «видики»: мордобой и морализаторство в духе массовой голливудской продукции, мол, сегодня ты, а завтра — тебя. Такой вот «пир духа».

Конечно, мысль для прозы не самоцель, но, как писал Шкловский, «материал, сырье, подлежащее переработке и переплавке, мысли в искусстве женятся или выходят замуж». Можно было бы что-нибудь съязвить по этому поводу, но, пожалуй, воздержусь, скажу только, что «гамбургский счет» (по которому и предлагает судить произведение Шкловский) это одно, а живой литературный процесс с постоянной корректировкой оценок и мнений — немного другое.

Если же говорить в целом — уровень достаточно ровный, спокойный, описательный, добротный реализм и не претендующий на особые глубины, со всеми вытекающими последствиями. Хотя есть и явные провалы. К таковым я отнес бы отрывок из повести В Чиликина «Капкан», сильно смахивающий на пародирование Владимира Сорокина. Может быть, этот отрывок и нужно воспринимать в контексте концептуального искусства? Но тогда — где этот контекст внутри альманаха?

Наиболее интересным показался тонкий и интеллигентный рассказ Н. Болдырева. А вот В. Окунев несколько удивил. После такой удачной книги, какой были его «Записки лимитчика», мы были вправе рассчитывать на нечто большее, однако Окунев отдал в альманах явно проходные вещи. Плохими их, конечно, не назовешь, все-таки марка фирмы не позволяет писать плохо, Виктор Окунев давно не новичок, но и к числу удач «Между митингом и камерой» (не рассказ даже, а как бы телевизионный репортаж, документальный фильм на темы перестройки, раннего ее периода) тоже отнести нельзя. Рассказ датирован 1988 годом. Может быть, в этом причина непопадания в десятку?

Более живое впечатление оставляют раскованные и рискованные в эстетическом плане тексты А. Бражника и Ю. Попова. Интересен случай последнего, который пытается писать прозаическое произведение поэтическими средствами: субъективный поток переживаний, где не нужно искать сюжета, здесь его просто не может быть. Правильнее было бы обозначить маленькую повесть «Почем халва» стихотвореньем в прозе, где было бы законным нагромождение образов, которые лепятся друг на дружку, как снежинки в пургу-метель, заметая все возможные входы и выходы… Опускается белый-белый занавес, мешающий разглядеть, понять хоть что-нибудь. Только белый снег слов на всем белом свете. Одни только слова, слова, слова… Разумный на небольшом стихотворном пространстве подобный снегопад вряд ли способен долго удержать читательское внимание. А Полову, кажется, этого и не нужно: он медитирует в самой середине снежной стихии, его рефлексия направлена на самого себя, и это законно в подобном лирическом жанре. Только при чем здесь читатель?!

Как известно, апофеоз сюжета — детективы и фантастика. И тут как раз ничего, кроме оного, не требуется. Но здесь — иные правила: поскольку сюжет ставится во главу угла, писательское мастерство должно определиться точностью его конструирования, тщательностью прописки составляющих сюжет ходов. Неожиданное для альманаха обилие фантастических рассказов, которые вроде как и не совсем литература, заставляют поинтересоваться у составителя: чем руководствовался он, привлекая в «Форум» наших сочинителей? Ведь времена, когда читатель клевал только на один значок «фантастический рассказ», не обращая внимания на фамилию автора и страну его обитания, давно и безвозвратно прошли. После многотомных антологий мировой фантастики, бесчисленных парадов лучших ее образцов, можно ли вообще еще чем-нибудь зацепить, удивить читающую публику? Остается только высказать уважение за смелость людям, вплетающим свои работы в современный фантастический контекст. Тут не до жиру — быть бы живу. Лучший здесь, безусловно, Иван Андрощук, знакомый еще по «Имиджу». Два его рассказа, от-

крывающие альманах, вносят разнообразие в серое уныние «районных будней».

Вся беда и прелесть альманаха в том, что он — первый. Первый и пока единственный. Отсюда неровности, срывы, неадекватность замысла воплощению. Но, будем думать, все еще впереди, что все недостатки первого выпуска — болезнь роста, естественный момент в становлении новой литературной ситуации на Южном Урале.

Николай СТАВРОГИН.

(Уральская новь. — 1993. — № 2. — С. 15)

«Музы не молчали»

В год пятидесятилетия Победы областной Центр народного творчества выпустил книгу «Музы не молчали», — сборник очерков о работниках культуры Челябинской области — участниках Великой Отечественной войны. С удовольствием работали над книгой люди старшего поколения участники Великой Отечественной войны Б. П. Маршалов, Р. Ф. Шнейвайс, Л. В. Сахарова, Е. С. Рудольская и молодые журналисты **С. Томских**, Л. Александров под руководством профессора Челябинского государственного института искусства и культуры Д. Б. Перчика.

Книга вышла тиражом 2 тысячи экземпляров и в основном попадет в библиотеки и музеи города и области.

22 декабря в областном Центре народного творчества (пр. Ленина, 44) пройдет презентация книги. На презентацию приглашены авторы очерков, герои книги, их родственники, друзья, ветераны войны.

Еще не совсем ясно, кто станет генеральным спонсором праздника, но известно, что готов помочь городской отдел социального обеспечения. Оргкомитет презентации ставит своей целью образование клуба ветеранов и создание специального фонда поддержки ветеранов культуры.

С. СЕРГЕЕВ

(Хроника. — 1995. — № 51. — 14 дек.)

1995–1997

Некролог

Умерла Светлана Томских. Света всегда стремилась стать писателем, окончила Московский литературный институт имени А. М. Горького, а жизнь заставляла ее работать в газетах. Сиюминутность журналистских материалов не сравнить с вечным трудом писателя. Но это не удручало Свету. Множество друзей, встреч, кипение и суета жизни переплавлялись в ее сочинениях, которые в большинстве своем так и остались в рукописях.

У Светланы остались мама, друзья и сборник рассказов, вышедший несколько лет назад в Южно-Уральском книжном издательстве.

Владлен ФЕРКЕЛЬ.

(Команда. — 1995. — № 21. — 10 июня. — С. 3)

Томских Светлана Викторовна

9 июня умерла Светлана Томских, одна из постоянных авторов нашей газеты. Умерла рано утром, во сне — внезапно остановилось сердце. Еще накануне заходила в редакцию.

Света была талантлива. Закончила Московский литературный институт почти на одни пятерки. Стихи и рассказы Светланы Томских печатались в областных литературных альманахах. Южноуральское книжное издательство выпустило сборник ее рассказов «Новогодняя ночь». Но очень многое так и осталось неизданным, в рукописях. Свете Томских было тридцать три года.

Редакция «Хроники».

(Хроника. — 1995. — № 25. — 15 июня)

Благодарность

Выражаю благодарность редакции газеты «Команда», моим бывшим сослуживцам из «Челябгипромеза», информационному агентству «Урал-Пресс» и всем, кто принял участие в организации похорон моей дочери Светланы.

Инесса Никитична ТОМСКИХ

(Команда. — 1995. — № 22. — 17 июня. — С. 2)

Прощай, Светка…

32 года — роковой возраст. Чуть-чуть не дожил до возраста Христа Толя Полушин — умер прямо за рабочим столом в редакции газеты «Команда». И вот не стало Светы Томских… И тоже в 32.

Мы встречались с ней за день до смерти. Кто бы мог подумать, что вечером она ляжет спать и уже не проснется? Остановилось сердце. Говорят, что Бог дает такую смерть только хорошим людям. Но почему так рано?

Молчат небеса. Помолчим и мы…

Сергей СМИРНОВ.

(«Комсомольская правда» в Челябинске. — 1995. — № 24. — 16—23 июня)

Челябинское представительство «Комсомольской правды», редакция газеты «Ва-банкъ» скорбят по поводу смерти нашею автора, журналистки СВЕТЛАНЫ ТОМСКИХ и выражают соболезнование родственникам покойной.

(«Комсомольская правда» в Челябинске. — 1995. — № 24. — 16—23 июня)

«А пока вглядитесь вечером в ободочек полумесяца…»

Исполнилось сорок дней со дня смерти Светланы Томских. Вспоминаю стихи Симонова — «Умер друг у меня, вот какая

беда. Как тут быть? Не могу и ума приложить…». Как это часто случается потребность в друзьях становится наиболее острой, когда мы их лишаемся. Впрочем, все преодолимо — ссоры, недоразумения, обиды. Все, кроме смерти. В традиционных некрологах пишут: «Преждевременная смерть вырвала из наших рядов…». Светин уход не квалифицируется по законам некролога, слишком нелепым было то утро. Мать стала ее будить., через десять минут после того, как у Светы остановилось сердце. И уже нельзя было что-либо изменить. Известие оказалось настолько неожиданным, что секретариат «Хроники», успев поставить некролог на третью страницу ближайшего номера, не успел внести изменения в тех полосах, что уже давно были сверстаны и отправлены в типографию. Так потом и вышли два номера газеты с подписью «С. Томских», без траурных рамок, словно ничего не случилось, и Света жива, и все еще спереди. Горькое совпадение — сороковины в день ее рождения.

Я долго перебирала Светины записи, когда, готовила эту памятную полосу. Черновики, печатные экземпляры, публикации. Честно, говоря до сего дня не знала, что из Светиных публикаций в литературных журналах может сложиться целый том. Стихи, рассказы, переводы. У меня дома хранятся только два сборника — «Новогодняя ночь» и альманах «Форум». А журналы со своими стихами Света не показывала, словно стеснялась. Единственное, что она однажды мне сказала: «В ранней молодости публиковала всякую чушь…». «Зато публиковалась, — резонно заметила я. — А сейчас попробуй опубликуйся! Будь у тебя хоть сто рекомендаций, что ты будешь делать без денег?».

Увы и увы… Не была Светкина литература конъюнктурной, не гнались за ней издатели, а средства были нужны, пусть даже не на сборник. Скромная зарплата корреспондента молодежной газеты, мама-пенсионерка. А зарплата со временем сменилась пособием по безработице.

Я смотрю на старые фотографии. Литературный институт. Чего стоило поступить в это одно из самых престижных

учебных заведений! Вчерашняя школьница отправилась покорять мир и… провалилась на экзаменах. Что-то есть в. этом «киношное». Героиня возвращается в родной город, усиленно весь год готовится и вновь едет в столицу. По «законам кино» она вновь провалилась бы, но Света поступила. Поступила, бросив учебу в Челябинском пединституте, куда с горя подала документы после первоначального провала. И был успех, и были победы… Фадеевская стипендия, подготовка сборника, мысли о Высших сценарных курсах.

Но все вернулось на круги своя. Я иногда думаю, что Светку столица «поломала». Престижный диплом лег на полочку с маминым документами. Первое время, когда она начинала работать в газетах, не все знали о существовании этого диплома. И своего образования Светка тоже стеснялась, как стеснялась своих ранних публикаций. Рукописи скапливались в ящиках письменных столов, дожидаясь своего часа. Жаль, что даже эти стихи публикуются только сейчас, через несколько Дней после сороковин.

Мне очень не хватает Светки. Ее ежевечерних телефонных звонков, моих звонков к ней. В тот последний вечер она, как обычно, звонила мне. Два раза. И не заставала меня дома. А я впервые изменила своей привычке и не перезвонила ей. Просто устала за день, лениво подумав: «Завтра поговорим». А назавтра уже ничего нельзя было изменить.

Не забывайте звонить друзьям.

А. МУХАМЕТКУЛОВА

P. S. Стихи Светланы Томских, которые мы предлагаем вашему вниманию, написаны в разные годы. Мне кажется, среди этих произведений нет той «чуши», которой так стеснялась Светлана.

(Хроника. — 1995. — № 30. — 20 июля. — С. 7)

Портрет на стене

21 января *Л. Л.* Оболенскому исполнилось бы 94 года. **К материалу Светланы Томских из «Команды» я обратилась совсем случайно. Там она привела одну фразу, которая мне очень нравится и которая родилась задолго до черномырдинской: хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Осип Брик, прослушав на художественном совете сценарий Михаила Левитова, изрек: «Хотел, как Бернард Шоу, а вышло — нехорошоу». А еще рассказывал Леонид Леонидович, как не получился фильм по сценарию Василия Гроссмана. Из вдумчивого и серьезного романа киношники попытались сделать что-то разухабистое, типа «вкалывай». На помощь позвали Исаака Бабеля.**

Вот сидят они однажды с Бабелем в ресторане «Ампир». Мимо окна идет парочка. Бабель и спрашивает Оболенского: под какую музыку те идут? Леонид Леонидович пропел что-то торжественное. — Ну и дурак, — сказал Исаак Эммануилович, — и картина у вас никогда не получится, потому что вы снимаете ее совсем под другую мелодию.

…Дом Оболенских был всегда открыт для всех. Я пришла в маленькую полуторку с московским сценаристом фильма «Власть Соловецкая» и с прекрасным профессионалом по кинопрокату в Челябинске Тамарой Никитичной Мордасовой, когда хозяин квартиры уже был прикован к своей коляске. Он сидел в черном беретике и с бабочкой на рубашке на любимом месте, напротив портрета Сергея Эйзенштейна на стене. Леонид Леонидович с удовольствием рассказывал многочисленные истории про Эйзенштейна, с этим человеком его связывала не только творческая судьба.

В лагере Инта, куда загнали Оболенского как предателя на восемь лет, поначалу был удивительный начальник — любитель оперетты. Вызвал он как-то к себе заключенного Оболенского и потребовал, чтобы тот поставил оперетту. Обещал

зачет сделать — месяц за три, костюмы из Большого театра доставить. Да что там — костюмы, любого артиста и музыканта обещал отыскать для своего театра.

Оболенского энтузиазм начальника не вдохновил. Более того, он заартачился, поскольку терпеть не мог оперетту и вовсе не хотел, чтобы ради забавы начальника лагеря арестовывали артистов. Он попытался отговориться, мол, не только не люблю оперетту, но и не умею ее ставить на сцене.

— А кто умеет, знаешь?

Умел Сергей Михайлович Эйзенштейн. Начальник предложил такой вариант: Оболенский пишет письмо жене и тот, не называя фамилию великого режиссера, просит ее обратиться к нему и получить консультацию.

— Сам ему не пиши, — предупредил начальник, — чтобы беды на него не накликать.

Вскоре Оболенский получил из Москвы толстую тетрадь с подробной методикой постановки оперетт.

И еще один факт из лагерной артистической жизни Оболенского.

Уже после его смерти международное общество «Возвращение» пригласило челябинских «мемориальцев» на встречу политзэков. Мы сделали выставку экспонатов нашего музея. Среди них была фотокопия картины художника Маслова «Артисты идут на репетицию».

Наклонясь вперед, преодолевая вьюжную метель, идут худые, съежившиеся люди, совсем непохожие на артистов. Третьим идет почти скелет. Острый нос торчит из надвинутой на самые глаза шапки. Руки глубоко засунуты в карманы когда-то, видимо, шикарного пальто.

Увидев репродукцию, одна актриса из Москвы, воскликнула: «Это же Оболенский! Мы с ним отбывали срок в одном лагере и я помню, как писалась эта картина. Потом мы с Леней встречались на Мосфильме. Он тогда снимался в картине «Ореховый хлеб».

Меня не удивило, что эта уже пожилая женщина так легко назвала Леонида Леонидовича Лёней. Не раз приходилось

слышать, как молодые люди называли его «Леонидычем», и это не коробило, потому что говорилось с любовью.

Помню, как моментально слетело с лица Сергея Мирошниченко скучное настроение, стоило нам заговорить о Леонидыче. Причем истинно его любившие, не стеснялись говорить о каких-то недостатках в его творчестве, о том, в чем так и не удалось реализовать Оболенскому свое дарование.

Сергей, мучительно и трудно создавая фильмы, считал, к примеру, что Оболенский легко и беззаботно раздаривал свои идеи и способности всем подряд. Он, действительно, любил помогать молодым.

В Челябинске многие педагоги, да и ученики, знают Нину Степановну Терещенко. Как никто другой она умеет прививать любовь к поэтическому слову. Встретились мы на вступительных экзаменах в ЧГПИ. И я тут же узнала в ней героиню телеспектакля по пьесе Марка Гроссмана «Здравствуй и прощай!». Тогда на Челябинском теле эта идея не одну меня посетила. Все за, но никто не знает, где денег взять…

Леонид Леонидович Оболенский. С этим именем у многих челябинцев связаны светлые и чудные воспоминания: то ли байка, которых Оболенский знал великое множество, то ли очень серьезный разбор пушкинской строки, то ли рассказ об уличной встрече, вроде этой. После прекрасного фильма «На исходе лета» актера узнавали, останавливали и сочувственно спрашивали, не выгоняет ли больше его сноха из дому. Простых людей как-то мало волновало, что актер за эту роль получил Золотую нимфу в Монте-Карло, они ему просто поверили.

И еще много разных историй приходит на память. А сколько могут рассказать другие!

Совсем недавно по Центральному телевидению и в кинотеатре «Знамя» проходил один из лучших фильмов об Оболенском «Таинство брака». Многие эпизоды из графически чистого и очень тонкого фильма вспоминаются и сегодня. А в воскресенье на день рождения Л. Л. Оболенского к себе приглашают миасские почитатели его таланта. В ДК «Юность» в

13 часов начнется вечер, посвященный Мастеру/ К этому дню приурочила свою персональную выставку и художница Анна Бутакова. Хочется надеяться, что за большим праздничным столом соберутся многие друзья Леонида Леонидовича, его ученики и благодарные зрители. Нас ждет встреча с документальным фильмом Евгения Садаксва.В нем есть такие кадры из несостоявшейся игровой ленты. Звенит будильник, старик открывает глаза, опускает худые ноги с кровати, надевает шлепанцы, халат. Берет в руки лентяйку и моет пол. Какое пронзительное, бесповоротное одиночество. Тут и слов не надо! В определенном смысле актер рассказывал и о своем одиночестве, когда его стали забывать приглашать играть, когда словно заживо похоронили коллеги. А ведь как все начиналось! Помните кадры фильма С. Мирошниченко «Таинство брака»? Оболенский блистает в немом кино, Оболенский — очаровательный степист, Оболенский — первый советский оператор, посланный на учебу в Германию. И Оболенский — уходящий объект, который любил сам себя так называть. Огромная, богатая жизнь…

С. Миронова

(Акция. — 1996. — № 3. — 19—25 янв. — С. 8)

Книжная полка

Городской романс о Челябинске

У этой книги более 150 авторов самых разных профессий и возрастов. Объединяет же их одно — любовь к родному городу, которому, кстати, скоро исполнится 260 лет. Пока «Романс» существует лишь в рукописи и лежит на столе составителя Ефима Ховива. Листаешь ее и наталкиваешься на знакомые имена и неизвестные факты. Вот один из них. Невероятно, но до 1905 года в Челябинске не было ни одного зубного врача. Представляю, как этот факт поразил всем известного дантиста Илью Герчикова. Он же и сообщает его читателям.

«И за любовь к земле, и зрелость мне горизонт утер слезу…»

Как не узнать в этих строках стиль поэта Вячеслава Богданова. И уже ищешь другие «говорящие» фамилии: Г. Комарова, А. Головина, М. Львова, М. Мочаловой.

Листаю машинописные страницы. «Семен Переплетчиков — лучший мастер психологического портрета в России, скиталец и бессеребренник, ценитель тонкой поэзии и женской красоты… Нет никого, кто бы не знал твой темперамент и страсть, кто бы не укорял себя за твой столь поспешный уход от нас». Спасибо К. Шишову, который высказал то, что у многих так и осталось на душе тяжелым грузом.

С особой любовью я читаю в оглавлении фамилии О. Митяева и В. Боже. Это уже новое поколение — скорее среднее, чем молодое. У них свой взгляд на родной город. Одному дороги уральские озера и гитара с доброй песней. Другому — отголоски «старины глубокой»

Болью отдаются имена совсем недавно ушедших — М. Клайна и **С. Томских**. Пытаюсь до конца понять смысл фразы Максима Максимовича: «Мы уходим, оставаясь должниками». Утешает лишь то, что крепкой порослью пробивается молодежь: дерзкая, умная, не без самомнения. Но ведь и в способностях ей не откажешь!

Как не улыбнуться, читая объявление: «Куплю иглу дикообраза». А можно вернуться и не в столь отдаленные времена, побывав на заседании бюро писательской организации. Молодой, ершистый писатель Рустам Валеев вопрошает аудиторию:

— Зачем нужен обком партии литературным объединениям?

Руководитель организации, пытаясь спасти ситуацию, говорит густо покрасневшему секретарю ОК КПСС Тяжельникову:

— Рустам — русский писатель, но иногда говорит так, что его нужно переводить на русский язык. Видимо, он хотел спросить, каким образом литературные объединения могут

быть полезными обкому партии. Комментарии, конечно, излишни.

«Городской романс», надо думать, придется по сердцу истинному челябинцу. Дождаться бы его рождения! И это вовсе не риторический вопрос. Чтобы сдать книгу в типографию, городской комитет по культуре не может изыскать всего 30 недостающих миллионов рублей. А время неумолимо движется…

Кс. Максимова

(Акция. — 1996. — № 8. — 23—29 янв. — С. 9)

«Музыка снов» воплотилась в реальность

Известно, что журналисты — люди крайне талантливые и всесторонне развитые. Но реализовать творческий потенциал им зачастую не позволяет ежедневная «текучка». А вот журналисты «Команды», вечно молодые душой и большие затейники по жизни, извернулись-таки и выпустили сборник стихов под названием «Музыка снов». Идея бродила в умах давно. Но весной 1996 года ситуация назрела — Владлен Феркель взялся за гуж и бросил клич: «Пора засучивать рукава!» И засучили по самые локти, перетрясли архивы и выбрали достойных — Михаила Богуславского, Марину Гончарову, **Светлану Томских**. Добили сборник сочинениями самого Феркеля и текстами Юрия Богатенкова. Рисунки сделал Владимир Новиков, фото — Алексей Гольянов. Аккурат под Новый год книжечка появилась на свет — этакий славный синий томик со страшной физиономией на обложке. А 27 декабря состоится презентация книги в театре «Манекен», где соберутся все имеющие отношение к «Музыке снов» и их друзья. Спасибо им всем!

(Команда. — 1996. — № 48. — 27 дек. — С. 1)

«Городской романс»: сто признаний в любви

На свет появилась новая книга, посвященная 260-летию Челябинска — «Городской романс». Ее презентация состоялась в библиотеке имени М. Горького Тракторозаводского района.

«Городской романс» — это большое и искреннее объяснение в любви, которое струится в каждой строчке — в лирике поэтов, в воспоминаниях учителей, библиотекарей, архитекторов, врачей, в исследованиях краеведов и журналистов, в улыбках юмористов и в школьных сочинениях. Маршруты книги — прогулки по широким современным проспектам и унылым районам бараков военного времени. Решение загадок истории в названиях и в рельефе улиц и отдохновение у чистого родника поэзии.

Ее герои — первые жители крепости, приехавшие с берегов Исети в поисках счастья, ушедшие и живущие ныне люди, имена которых уже стали строчкой в летописи города, воплотившись в его памятниках, домах, музеях, книгах, песнях. И талантливые дети, начинающие сегодня творить и искать свое счастье.

Авторы книги — педагог Максим Клайн, синоптик Татьяна Ишукова, краевед Владимир Боже, пианистка Валерия Авербах, композитор Евгений Гудков, писатель Кирилл Шишов, бард Олег Митяев и многие другие интересные, известные в городе люди. Составитель книги — Ефим Ховив, руководитель литературного объединения ЧТЗ.

Жаль только, что у большой, объемной книги такой маленький тираж — всего — 1000 экземпляров.

Ек. СИДОРОВА

(Уик-Энд. — 1997. — № 1. — Янв.)

Я странен? А не странен кто ж?

Им отдых от газетной прозы приносят поэтические грезы

Приятно писать о соседях. Особенно, если они симпатичные. Соседями «Вечерки» с момента ввода в строй Дома печати стали журналисты областной молодежной газеты «Комсомолец». С тех пор уже несколько поколений молодых журналистов там сменялось, газета стала называться «Команда» н выходить в виде вкладыша в «Челябинский рабочий», но дружба продолжается.

Люди там работают интересные.

Вот, например, Юрий Богатенков. Он известен, кроме газетных публикаций, тем, что уже много лет пишет тексты для группы «Резиновый дедушка». Впрочем, слово «тексты» сюда не подходит, потому что это — стихи. Они и вне музыки самодостаточны. В этом можно убедиться, взяв в руки стихотворный сборник «Музыка снов», вышедший в конце прошлого года в Челябинском издательстве «Версия».

В сборнике стихи поэтов, либо работающих в «Команде», либо работавших в этой газете. Кроме Юрия Богатенкова, там поэтические строки Михаила Богуславского, Марины Гончаровой, **рано ушедшей от нас Светланы Томских**, Владлена Феркеля.

Владлен Феркель — инициатор, составитель, наборщик, верстальщик этого очень неплохого сборника, вышедшего тиражом 2000 экземпляров. Давно зная Владлена, я и предположить не могла, что заместитель директора АО «Команда», технарь, хлопотун, способен создать такие тонкие стихи, что довелось прочесть в «Музыке снов».

В этом сборнике нет произведений редактора «Команды» Айвара Валеева. А могли бы быть. Его рассказ «Марина и Алексей. Военно-половой роман» опубликован в столичном журнале «Соло» и о нем с одобрением отозвались в «Литературной газете». Есть у него и поэма с загадочным названием «Кап-чо».

Вот такие творческие люди работают рядом с нами. Посмотришь на них, позавидуешь их поэтическому видению мира и захочешь тоже создать что-либо рифмующееся. Ну хотя бы заголовок к заметке.

Опрашивала «хоббистов» Ирина МОРГУЛЕС

(Вечерний Челябинск. — 1997 — 9 янв. — С. 7)

Новогодняя «Музыка снов»

В канун Нового года в театре «Манекен» собралась» несколько необычная публика, состоявшая из челябинских журналистов, артистов, книгоиздателей и литераторов. А причиной собрания такого большого количества талантливых людей стал выпуск скромной книжечки стихов под названием «Музыка снов». Книга эта заключает в себе плоды трудов журналистов областной молодежной газеты «Команда», а точнее — их творчество в свободное от основной работы время. Даже иллюстрации и фотографии сделаны людьми, отдавшими «Команде» часть своей жизни, — Владимиром Новиковым и Алексеем Гольяновым. Неумолимое время уже разметало соавторов: Михаил Богуславский сегодня работает в «Челябинском рабочем», Марина Гончарова переехала в город ее мечты — Санкт-Петербург, Светланы Томских уже полтора года, как нет в живых. Но на страницах поэтического сборника они по-прежнему молоды и полны творческой энергии.

Открыл вечер заместитель генерального директора ЗАО «Газета "Команда"» Владлен Феркель, которому первому пришла в голову эта идея опубликовать книжку стихов уральских журналистов. Речь его была длительной и прочувствованной: благодарность была выражена буквально всем участникам проекта, включая печатников и переплетчиков. Следом к микрофону вышел председатель областной организации Союза журналистов, главный редактор «Челябинского рабочего» Борис Киршин и подвел резюме: челябинские журналисты необычайно талантливый народ. С кратким приветственным

словом от издательства «Версия» (здесь была издана «Музыка снов») обратился Владимир Лурье, а от газеты «Вечерний Челябинск» виновников торжества поздравили Владимир и Марина Черновы, в свое время работавшие в «Команде» (тогда она еще называлась «Комсомольцем»). Закончил торжественную часть еще один экс-«командовец» Михаил Богуславский, с необычайным эмоциональным подъемом прочитавший несколько стихотворений из сборника.

Перебравшись из зрительного зала в банкетный, участники презентации отдавали должное напиткам и закускам, а тем временем начался последний этап праздника — микроконцерт ВИА «Резиновый дедушка», ибо автор этих песен Юрий Богатенков — опять-таки журналист «Команды».

Вечеринка закончилась затемно, когда романсы Марины Черновой вышибли слезу даже у суровых с виду мужчин, а в бокалах иссякло шипучее вино. Но настроение было превосходное — умеем! И очерк написать с репортажем, и спеть задушевно, и книгу выпустить!

Олег КУДРЯВЦЕВ

(Вечерний Челябинск. — 1997. — 10 янв. — С. 11)

Пятый угол

R. E. M.
(Особая стадия сна)

Поэтический сборник журналистов, в разное время работавших или работающих в областной молодежной газете «Команда» (ранее — «Комсомолец»), называется «Музыка снов».

По качеству поэтической продукции «Музыка снов» резко отличается в лучшую сторону от большинства поэтических книжек местного розлива.

Первой и самой лапидарной оказывается подборка роктекстов (а не, как это водится, текстовок) Юрия Богатенкова. Все признаки рок-эстетики налицо: нервическая. экспрессионистская образность, перекошенность кричащей и сочащейся

Вселенной. Как поэтической, так и реальной. Тяжело ж тебе живется, Юрка!

В стихах принимающего у «Резинового дедушки» эстафету Михаила Богуславского попеременно идут то дожди, то снег. Но постоянным при любой погоде остается мотив прощания — с летом, с осенью, с любовью… «Муки художника адских страшней». Богуславский тем не менее оптимистичен и бодр.

Питерской жительнице Марине Гончаровой особенно хорошо удаются верлибры. Почти напоследок запечатленное истончение словесной шелухи, судорога жеста. «Такой короткий сон». Здесь тоже много дорог и дождя над всеми дорогами сразу. Дождь, приносящий голос и дающий силы. Можно уже не рифмовать. Лишь обозначить пространство. Да. И чем короче, тем вернее стихи слагаются навзрыд.

В стихах Светланы Томских тоже много прозы. Точнее, быта: больница, приусадебные электрички, спортивные тренировки. «Мы себя отчужденностью губим…» Все верно, да только причастностью мы губим себя еще сильней. В этой подборке часто встречается мотив «неузнавания, «невстречи». «Вы что же, не узнаете меня?» «Нелепо как — тебя не узнать…» Или еще более трагично: «Некуда деться. Некуда. Деревья ломают руки». Так стихи оказываются последней возможностью вырваться из этого душного подземелья, прокричать. Действительно, последней…

«Где же вы? Где же вы? Те, которые живы…» Меньше всего ожидал я стихов от такого делового и перегруженного Влада Феркеля. Ан нет: и у него душа стабильно просит непокоя! Поэтика Феркеля театрализована: она предполагает большое скопление публики, сцену и «полной гибели всерьез». Даже летящие к закату крокодилы, прочие как бы несерьезные детали подчеркивают неизбывную грусть. Впрочем, свойственную всем участникам книги. Такая, значит, музыка. Такие, значит, сны.

Дм. БАВИЛЬСКИЙ

(Вечерний Челябинск. — 1997. — 21 янв. — С. 3)

Такая вот неожиданная «Версия»

Январский «3-й четверг» познакомил собравшихся с деятельностью издательства, осуществившего множество интересных краеведческих, научных, литературных проектов. Это издательство «Версия». Для этой небольшой фирмы вроде бы и препятствий нет: они берутся за тексты со сложнейшими математическими формулами, схемами, а недавно освоили и ноты. Начинали работу, как рассказал директор издательства Владимир Лурье, на самодельном компьютере, а начальной концепцией была концепция «издательства для графоманов» — не в ругательном смысле, а в самом добром. Если человек представил для публикации работу, в которую он вложил частичку себя, частичку жизни. — издательство старается помочь ему.

В тяжелейшие годы инфляции «Версия» нашла возможность выпустить интереснейшую книгу по педагогике Д. Алешко и М. Волковой «Дисциплинарный батальон». Книга вышла, можно сказать, на энтузиазме.

Очень многое «Версия» делает для челябинских авторов. **Только что вышла в свет книга стихов челябинских журналистов «Музыка снов»**. Сейчас В. Лурье мечтает издать фантастику Ивана Андрощука «Таинственные истории», художник Игорь Рыженков уже предложил свои иллюстрации к ней. Дело за малым — нужно около 40 млн рублей на этот проект.

Давно сотрудничает издательство с общественным движением «Лилия» и его издательством «Лад», недавняя их работа — сборник стихов «Челябинские акварели».

На этой встрече снова прозвучала идея — осуществить в содружестве с другими издательствами выпуск литературного альманаха Челябинска. Эта идея давно витает в воздухе, пора бы ей и материализоваться. Издатели всего Челябинска, вокруг интересного проекта — объединяйтесь!

Н. ЯГОДИНЦЕВА

(Вечерний Челябинск. — 1997. — 29 янв. — С. 5)

В стремительном полете — навсегда!

Два года назад, 9 июня, когда цвели тополя и набирало полную силу солнечное лето, неожиданно перестало биться сердце молодой челябинской поэтессы Светланы Томских. Воспитанница литобъединения «Алые паруса» при челябинском Дворце пионеров и литобъединения «Металлург», она успешно окончила дневное отделение Литературного института имени М. Горького. Ее стихи и прозу охотно публиковали в Челябинске, Москве, они вошли во многие коллективные сборники молодых литераторов.

Поэтический голос Светланы по-настоящему только еще становился и креп. Она писала о том, что наболело в ее душе и созревало в сердце. Ни о какой литературной карьере не мечтала, работала в многотиражках и молодежной газете «Команда». Она могла бы стать поэтессой, чье имя читатели по достоинству произносили бы вслед за Людмилой Татьяничевой. Богом данный талант, творческая энергия и работоспособность у ней были неиссякаемы. И вот неожиданная гибель, словно пуля снайпера, сразила ее, когда она находилась в стремительном полете.

В память о Светлане Томских мы публикуем несколько ее стихотворений.

(Возрождение Урала. — 1997. — № 8. — Май-июнь. — С. 4)

Перечень литературных публикаций (газетных) Светланы Томских

1. Веч. Челябинск. — 1974. — 9 янв. — 1 стихотворение.
2. Веч. Челябинск. — 1976. — 1 сент. — 1 стихотворение.
3. Комсомолец. — 1979. — 5 мая. — 1 стихотворение.
4. Веч. Челябинск. — 1979. — 14 июля. — 1 стихотворение.
5. Челяб. металлург. — 1980. — 30 окт. — 1 стихотворение.
6. Челяб. металлург. — 1982. — 4 мая. — 1 стихотворение.
7. Веч. Челябинск. — 1982. — 17 июля. — 1 стихотворение.
8. Челяб. металлург. — 1982. — 17 июля. — 1 стихотворение.
9. Слава труду : газета Аромашевского р-на Тюменской обл. — 1982. — 17 июля. — 4 стихотворения.
10. Челяб. рабочий. — 1984.— 16 сент. — 1 стихотворение.
11. Комсомолец. — 1986. — 1 марта. — 1 стихотворение.
12. Челяб. рабочий. — 1987. — 18 янв. — 1 стихотворение.
13. Автомобилист. — 1990. — 8 авт. — 1 рассказ.
14. Автомобилист. — 1991. — 6 марта.— 1 рассказ.
15. Милосердие и здоровье. — 1991. — № 12. — дек. — 3 стихотворения.
16. Хроника. — 1995. — 20 июля. — 7 стихотворений.
17. Возрождение Урала. — 1997. — № 8. — май. — 3 стихотворения.

Перечень литературных публикаций (книжных и журнальных) Светланы Томских

1. Урал : литер.-худож. журнал.— Свердловск : Ср.-Урал. кн. изд-во, 1979. — № 8. — 1 стихотворение.
2. Истоки : альманах. — М. : Мол. гвардия, 1980. — 1 стихотворение.
3. Смена : литер.-худож. журнал. — М. : Правда. — 1986. — № 11.— июнь. — 1 стихотворение.
4. Каменный Пояс : литер.-худож. сб.— Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1987. — 1 стихотворение.
5. Литературный Киргизстан : литер.-худож. журнал. — Фрунзе : Ала-Тоо, 1988. — № 9 / пер. с киргиз. — 1 стихотворение.
6. Каменный Пояс : литер.-худож. сб.— Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989. — 1 рассказ.
7. Паруса надежды: коллективный сборник.— Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1990. — 1 стихотворение.
8. Ораловов, В. И. Незабудки / Владимир Ораловов ; Антон Соловьев. Счастливый день везучего человека ; Светлана Томских. Новогодняя ночь.— Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1991. — 10 рассказов.
9. Форум: свободный альманах: Проза. Поэзия. Эссе. — Вып. 1. — Челябинск : Форум-издат, 1992. — 5 стихотворений, 1 рассказ.
10. Единая семья: литер.-худож. журнал. — Челябинск : Автограф ; Лад, 1995.— № 2. — 5 стихотворений.
11. Музы не молчали: 1941—1945. — Челябинск : Обл. центр нар. творчества, 1995. — 7 очерков.

12 Городской романс : сборник. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1996. — 1 стихотворение.
13. Музыка снов : сборник. — Челябинск : Версия, 1996.— 48 стихотворений.
14. Томских, С. В. Круги по воде: стихотворения. — Челябинск : Цицеро, 2012. — 428 с. — около 700 стихотворений.

Содержание

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Телохранитель *Рассказ* 5
Новогодняя ночь 21
Босиком по траве 28
В бассейне 36
В Карпатах 42
К дочери 53
Пластинки 63
Снимается кино! 74
Бедная Лиза 83
Благодарим за покупку! 95
Бессонница дворника Нечаева 121

О СВЕТЛАНЕ ТОМСКИХ

1975–1995

Алые паруса юности 129
Долгие незабываемые годы 132
Литературный клуб «Синегорье» 133
Наш творческий цех 135
Литературный цех 137
В красоте ли красота? 139
Дневник души 145
Стихи юных 147
«В синем цехе любви и добра» 148
Обретение памяти 149
Невостребованность 153
В поисках контекста 157
«Музы не молчали» 162

1995–1997

Некролог 163
Томских Светлана Викторовна 163
Благодарность 164
Прощай, Светка… 164
«А пока вглядитесь вечером в ободочек полумесяца…» 164
Портрет на стене 167
Городской романс о Челябинске 170
«Музыка снов» воплотилась в реальность 172
«Городской романс»: сто признаний в любви 173
Им отдых от газетной прозы приносят поэтические грезы 174
Новогодняя «Музыка снов» 175
R. E. M. (Особая стадия сна) 176
Такая вот неожиданная «Версия» 178
В стремительном полете — навсегда! 179

Перечень литературных публикаций (газетных) Светланы Томских 180
Перечень литературных публикаций (книжных и журнальных) Светланы Томских 181

Светлана Викторовна Томских

Новогодняя ночь
Проза

Корректор *Е. С. Меньшенина*
Верстка *В. Б. Феркель*

Подписано в печать 21.01.13 г. Гарнитура Палатино *Л*инотайп.
Бумага офсетная. Формат 84×108/32. Объем 9,66 усл. печ. *л*.
Тираж 100 экз.
Заказ № 13.

Издательство «Цицеро»
454080, г. Челябинск, Свердловский пр., 60.

Отпечатано в типографии ООО «Тираж Сервис»
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 179.